



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ под редакцией и с критико-биографическим
очеркомъ А. М. Скабичевского и с приложениемъ портрета Шеллера.
ТОМЪ ВТОРОЙ. Приложение къ журналу "Нива" за 1904 г. //Издание А. Ф.
МАРКСА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1904
FB2: "rvvg ", 02 July 2015, version 1.0
UUID: BCD34189-293A-4AF1-B55A-EAC3D197F667
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Константинович Шеллер- Михайлов

Бедные углы большого дома (Сборник рассказов)

ШЕЛЛЕР, Александр Константинович, псевдоним — А. Михайлов [30.VII(11.VIII).1838, Петербург — 21.XI(4.XII).1900, там же] — прозаик, поэт. Отец — родом из эстонских крестьян, был театральным оркестрантом, затем придворным служителем. Мать — из обедневшего аристократического рода.

Ш. вошел в историю русской литературы как достаточно скромный в своих идейно-эстетических возможностях труженик-литератор, подвижник-публицист, пользовавшийся тем не менее горячей симпатией и признательностью современного ему массового демократического читателя России. Декларативность, книжность, схематизм, откровенное морализаторство предопределили резкое снижение интереса к романам и повестям Ш. в XX в.

Содержание

I Большой домъ и его отношенія къ рожденіе, жизни и смерти его обитателей	0005
II Что могло случиться и что случилось на дѣлѣ послѣ похоронъ	0044
III Маленькая сестрица и бѣдный братишка	0079
IV Жизнь Вари и ея Трезора въ школѣ большого дома	0117
V Комедія жизни, по обыкновеніе, оканчивается драмою смерти	0144
VI Приснухины, — романъ въ одной главѣ .	0174
VII Трезоръ пробуетъ осчастливить людей и терпитъ за это непріятности	0215
VIII Варя знакомится съ домашней Аркадіей семейства Гребешковыхъ	0239
IX Недолгій праздникъ юношескихъ дней .	0269
X Семейныя драмы	0298
XI Бѣдные жильцы прощаются съ большимъ домомъ	0322

А. К. ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ

Бедные углы большого дома

Большой домъ и его отношенія къ рожденіе, жизни и смерти его обитателей

Э то былъ дѣйствительно большой домъ, какъ Россія есть дѣйствительно большое государство. Число его жителей равнялось числу жителей иного изъ безуѣздныхъ и даже уѣздныхъ русскихъ городовъ. Его достопочтенные обитатели, какъ это бываетъ и въ городахъ, принадлежали ко всѣмъ сословіямъ, даже были въ немъ и такіе, которые просто-напросто не принадлежали ни къ какому сословію, несмотря на то, что законодательство устроило сословіе «разночинцевъ». Кромѣ этихъ «Ивановъ, не помнящихъ родства», гулявшихъ съ «волчьими паспортами», было въ большомъ долгѣ нѣсколько семей толстыхъ купцовъ, у которыхъ висѣли на шеяхъ медали за пожертвованія, теплились во всѣхъ комнатахъ жертвенныя лампы съ запыленными фарфоровыми яйцами и поне-

многу приносилась въ жертву времени и моли дорогая мебель, скрывавшаяся въ теченіе многихъ лѣтъ подѣ чехлами. О бокѣ съ однимъ изъ купцовъ нанимала квартиру «мадамъ», какъ называли въ домѣ дѣвицу, содержавшую школу исключительно для женскаго пола, между которымъ въ неурожайные годы были и мальчики. Надъ школой жилъ какой-то разбогатѣвшій изъ скуднаго жалованья и пившій запоемъ надворный совѣтникъ, съ Станиславомъ въ петлицѣ и пряжкой за безпорочную службу. Надъ нимъ существовала какая-то вдовица, устроившая государство въ государствѣ, то-есть раздѣлившая свою квартиру на части, и такимъ образомъ превратившаяся въ хозяйку-собственницу. Этимъ раздѣленіемъ она пріобрѣла право изгонять изъ своихъ владѣній непокорныхъ васаловъ-жильцовъ и доказала міру, какъ легко захватить въ свои руки извѣстную долю власти. Былъ въ домѣ даже и генераль, но — успокойтесь, встревожившійся читатель, — генераль былъ статскій. Не стану исчислять всѣхъ жильцовъ большого дома, но скажу, что тутъ было все, начиная съ нѣмецкой ап-

теки господина Гифта и кончая русскимъ трактиромъ. О немъ гласила вывѣска съ нарисованными на ней тарелками, летящимъ ножомъ и чайнымъ приборомъ. Надъ нимъ красовалась надпись: «Трактиръ съми купающихся лѣбѣдей», а внизу значилось лаконическое: «въ хотъ». Всѣ эти предметы съ ихъ жизнью и видомъ до того знакомые и, такъ сказать, родные, что, глядя на правописаніе этой вывѣски — я боюсь болѣе смѣлыхъ примѣровъ — и на правописаніе другихъ вывѣсокъ, невольно приходишь втупикъ и думаешь, что именно это — появляющееся на вывѣскахъ и во всѣхъ безъ исключенія письмахъ великихъ и малыхъ россіянъ — правописаніе есть настоящее, а другое, — появляющееся только въ учебникахъ, — есть вымышленное злонамѣренными людьми для нашей гибели. Въ теченіе каждаго года въ домъ родилось, женилось и умирало скоропостижно и отъ изнурительныхъ болѣзней, отъ пьянства и насильственной смертью, ни болѣе, ни менѣе людей, какъ сколько слѣдуетъ по неизмѣннымъ законамъ статистики, то-есть какъ разъ столько, чтобы жите-

ли могли имѣть всегда свѣжія темы для разговоровъ, тѣмъ болѣе интересныхъ, что предметъ ихъ весьма близко касался каждаго изъ жителей.

Если глядѣть со стороны, изъ пустынь Африки, на примѣръ, то, пожалуй, можетъ казаться, что до жильцовъ большого дома несколько не касалось вотъ хоть бы рожденіе сына — немного преждевременное — у двадцатидвухлѣтняго портного Приснухина, котораго женили на двадцатипятилѣтней генеральской горничной, видя всѣ признаки его пламенной любви къ ней. Но это можетъ казаться только изъ пустынь Африки, и то людямъ вѣтренымъ, готовымъ назвать сплетнями возникшіе по поводу этого рожденія толки, споры и счеты недѣль, — за неимѣніемъ мѣсяцевъ, — дней и даже часовъ, протекшихъ со дня брака. Но благоразумный, практическій человекъ, надѣленный съ избыткомъ способностью къ глубокимъ соображеніямъ, сейчасъ смекнетъ, что новорожденный младенецъ очень и очень важное событіе въ жизни большого дома и что средства его родителей непременно должны быть

приведены въ ясность.

— Рожаетъ, рожаетъ! — кричала жирная и вѣчно тревожная слесарша Иванова, или, по-просту, Иваниха, своему мужу, вбѣгая съ одышкой въ свою грязную квартиру въ день рожденія Порфирія Приснухина, одного изъ моихъ любезныхъ героевъ.

— Экъ тебя разобрало! — флегматично пробормоталъ сквозь зубы слесарь, отирая оборотомъ грязной руки грязный потъ съ грязнаго лба. — Четырехъ недѣль нѣтъ, какъ они повѣнчались.

— А все-таки рожаетъ.

— Машинный онъ, что ли, у нихъ будетъ! Хлебнула ты, вѣрно, на радостяхъ, — произнесъ мужъ, стуча молоткомъ.

— Ну да, ты подносилъ! Дни-то я и безъ тебя сосчитала: сегодня двадцать-пятый пошелъ, третьяго дня онъ ее въ шестой разъ билъ...

— Такъ что-жъ, что билъ? — прервалъ неторопливо слесарь потокъ жениныхъ рѣчей. — Тебѣ-то какое дѣло? Завидно, что ли?

— Какое дѣло? — избоченилась слесарша и

покраснѣла отъ злобы. — Она третьяго дня на весь домъ орала, съ нашимъ Васькой съ перепугу родимчикъ сдѣлался. Такъ что-жъ, я не мать развѣ своему дѣтищу? Какое мнѣ дѣло! Это тебѣ-то, безстыжіе твои глаза, дѣла ни до чего нѣтъ, благо ты ночью-то, чѣмъ бы съ женой быть, чортъ знаетъ гдѣ шляешься. Закона-то ты не знаешь, христопродавецъ, фармазонъ ты этакой! Сосѣди рѣзаться будутъ, а намъ и дѣла нѣтъ!.. А ты чего подъ ноги суешься? У-у, чтобъ васъ не было! — крикнула раздраженная женщина и вытрепала за волосенки вбѣжавшаго со двора грязнаго сынишку.

Маленькое созданье вытаращило глаза на мать и стало пятиться задомъ къ отцу.

— Плюнь, братъ, на нее: дура у тебя мать, — шопотомъ проговорилъ слесарь и провелъ жесткою и сырою рукой по щекѣ сына, оставивъ на ней четыре сѣровато-черныя полосы.

Маленькое созданье юркнуло подъ ноги отца, и черезъ секунду его головенка уже торчала между стуломъ, наковальнею и колѣнями слесаря. Это нисколько не смутило работника, и онъ хладнокровно продолжалъ

стучать молоткомъ около самой головы сына. Этотъ тощій господинъ, какъ человекъ, имѣвшій въ жизни столкновенія съ полиціей, съ ремесленной управой и мѣщанской гильдіей, былъ выносливымъ философомъ и съ должнымъ презрѣньемъ смотрѣлъ на глупый бабій задоръ своей жены.

— Разбойникъ, разбойникъ! — воскликнула она: — сына изуродовать хочешь. Чего ты молотищемъ-то стучишь у его носа, чего потокаешь-то ему? Вѣдь дитѣ глупо, вѣдь...

— Здравствуйте! Готовъ мой замочекъ? — зазвенѣлъ голосокъ, и между желѣзными опилками слесарной зашуршали крахмаленныя юбки молоденькой горничной надворнаго совѣтника.

— Да вѣдь я сказалъ, что въ субботу будетъ готовъ, въ субботу и будетъ, — сурово отвѣтилъ неразговорчивый человекъ.

— Ахъ, а я и забыла, думала въ пятницу, — раскаялась въ своей мнимой забывчивости горничная и обратилась къ хозяйкѣ съ желаннымъ вопросомъ:— слышали, рождаетъ?

— Какъ не слышать, — слышали! Это мой-то осель только не вѣрять. Начнутъ теперь

крики да ревъ, не дадутъ и ночью покоя, вѣдь къ намъ отъ нихъ все до слова слышно.

— А по мнѣ, хоть изъ пушекъ пали, такъ я не услышу, если спать завалюсь, — замѣтилъ философъ, дѣлая расклепку на замкѣ.

— Ну, ужъ что про тебя и говорить. А вотъ, погоди, годика черезъ три твоему Васькѣ проходу не будетъ, портняжкино дѣтище тузить его станетъ. Разбирай ихъ тогда. Будетъ еще горя, ложками не выхлебаемъ, кулаками слезы отирать будемъ.

— Это точно, — согласилась горничная.

— А пусть ихъ дерутся, — рѣшилъ хозяинъ. — Битая посуда два вѣка живетъ...

— Пусть дерутся! А какъ такой разбойникъ вырастетъ, какъ у полового? Намедни разбилъ стекло у насъ камнемъ, а самъ драло, — намъ же пришлось стекло вставлять. Что, скажешь, не правда? Дѣла намъ нѣтъ, хоть у всѣхъ сосѣдей по шести ребятъ родись?

— Свиньи они, что ли, что по шести рождать станутъ?

— Тѣфу, дуракъ!

Въ эту минуту въ двери слесарской просу-

нулось худощавое лицо частной повивальной бабки, принимавшей у всего бѣднаго населенія дома дѣтей и извѣстной всѣмъ подъ именемъ «бабушки».

— Пожалуйста, Кузьма Петровичъ, стучите потише! — промолвила эта жеищна, поздоровавшись съ присутствующими. — Роженица страшно мучится, повремените немного работать.

— Ахъ, матушка, ужъ и въ своей-то конурѣ работать нельзя! — взбѣсилась слесарша. — Да я нарочно все вворхъ дномъ поставлю, покажу, что я у себя хозяйка.

— Полноте, Анна Семеновна! У васъ у самихъ недавно ребенокъ родился, вы знаете, что это не шутка, — кротко замѣтила бабка. — Съ больною отъ испугу можетъ несчастье случиться, да вы потомъ себѣ покою не найдете, каяться будете.

— По мнѣ, пожалуй, я и отдохну часокъ, — промолвилъ слесарь по уходѣ бабки и, захвативъ, какъ бы мимоходомъ, со стѣны фуражку съ раздвоеннымъ козырькомъ, побрелъ лѣнливою, болѣзненною походкой къ двери, уводя за руку сынишку.

— Знаю я твой отдыхъ! Безстыжіе твоя глаза, въ кабакъ пойдешь отдыхать, вернешься буянить, жену колотить! Человѣконенавистникъ, кровопійца ты! — сквозь слезы кричала ему вслѣдъ жена и махнула рукой, когда тощая фигура мужа и его заломленная на-бокъ, сальная фуражка пропали изъ виду. — Вотъ время-то подоспѣло, а я-то дура думала, что еще мѣсяцевъ семь будемъ спокойны!

— Нашихъ барина и барыню тоже страхъ беретъ, все утро сегодня только объ этой исторіи и толковали, — снова зазвенѣлъ голосокъ горничной. — Сама-то у насъ скаредная такая, боится, что у портняжки расходовъ прибавится, дровъ не на что будетъ купить, станутъ изъ нашего сарая таскать; тамъ, глядишь, молока ребенку понадобится, тоже у сосѣдей красть начнутъ... Вотъ вамъ прибьль, замки ко всему нужно будетъ придѣлать...

— Какая теперь работа! Чуетъ мое сердце, что мой соколъ теперь загуляетъ. Больно бунень онъ во хмелю-то, — вздохнула слесарша и съ свойственной ей живостью перешла къ

новому разговору:- а что у генерала?

— Лакей ихъ горюеть: платье чистить онъ отдалъ портняжкѣ, теперъ боится, что тотъ заложить вещи...

— А сами-то, сами-то что?

— Сама, сказываль лакей по секрету, вчера весь вечеръ сыну выговаривала. «Вотъ, говорить, теперъ и помогай имъ, заботься о всякой дряни, воспитывай чужого ребенка, чтобы не срамили насъ». — «Эка важность, — отвѣтилъ сынъ:- бросить имъ грошъ, такъ и будутъ молчать, а нѣтъ — такъ и ничего не дадимъ. Имъ же хуже будетъ. Что я, дѣвчонка, что ли, что это сдѣлаеть мнѣ мараль? Слушая васъ, подумаешь, что я преступленіе сдѣлалъ. Шалость — вотъ и все! Въ восемнадцать лѣтъ это позволительно». — «Ну, что тамъ толковать, въ наше время и не то дѣлалось, — говорить генераль. — Вотъ время-то было!!!.. Шутникъ онъ, знаете, такъой...

— Я думаю, сынъ-то ихній и крестить будетъ?

— Конечно!

— Ужъ только и тяжело же ей жить! Когда

она подь вѣнецъ становилась, такъ я ужь знала, что плохо ей будетъ. Женихъ-то фертомъ къ налою подлетѣлъ, а она, точно ее на веревкѣ волокли, едва дотащила до подножки. Такъ мнѣ и хотѣлось ее толкнуть въ спину. Свое счастье, дура, упустила, своими руками выдала, а вотъ теперъ и плачъся, какъ мужъ свое право купилъ, первымъ сталъ. И намъ-то было бы лучше, когда бы она верхъ надъ нимъ взяла, а то съ этого битья покою нѣтъ...

Никто не позаботился, хорошо ли будетъ жить новорожденному человѣчку, никто не подумалъ, что, можетъ-быть, надо для общаго благополучія сдѣлать что-нибудь болѣе дѣйствительное, чѣмъ замки къ сараямъ; но зато долго продолжались разныя глубокия соображенія и занимали они всѣхъ жильцовъ. Даже одинъ изъ сотни нашихъ геніальныхъ писателей, жившій въ большомъ домѣ, терпѣливо выслушалъ отъ своей жены-институтки всѣ подробности этой исторіи, вѣроятно, съ благою цѣлью написать на подготовленную самую жизнью тему одинъ изъ своихъ блистательныхъ, столь любимыхъ

публикою, комическихъ разсказовъ. Я привелъ бы здѣсь всѣ эти разсужденія, если бы не зналъ, во-первыхъ, что мои соотечественники способны къ точно такимъ же глубокимъ соображеніямъ. Однимъ изъ самыхъ яркихъ доказательствъ этой способности было признаніе, гордившагося красотою своихъ формъ, Чичикова за безногаго калѣку капита-на Копѣйкина. Но я, однако, сомнѣваюсь, что мы не способны къ еще болѣе крупнымъ соображеніямъ, до того твердо укоренившимся въ насъ, что никакія послѣдующія и противорѣчащія имъ событія не заставятъ насъ попотчивать себя именемъ телятины. Во-вторыхъ, я знаю, что моимъ соотечественникамъ, вѣроятно, и нѣтъ покуда другого дѣла, кромѣ глубокихъ соображеній.

Итакъ, въ большемъ домѣ всегда былъ неистоцимый запасъ разговоровъ. Такъ какъ подобные разговоры, какъ мы видѣли, близко касались каждого изъ жителей, то послѣдніе, несмотря на свои лѣта, знаніе и образованность, ни имѣли ни охоты, ни времени, ни нужды заниматься какими-нибудь общественными, политическими, научными или

литературными вопросами, или какимъ-нибудь тому подобнымъ „постороннимъ“ вздоромъ, очень вѣрно, по своей великой русской смѣтливости, соображая, что своя рубашка къ тѣлу ближе и что имъ не для чего заботиться, на примѣръ, объ общественныхъ дѣлахъ, потому что это дѣла общества, т.-е. чьи-то чужія, а не ихъ личныя, собственныя, не дѣла портного Приснухина, не дѣла содержательницы комнатъ Игнатьевны или кого-нибудь изъ близкихъ, изъ „своихъ“. Все это заставляетъ меня съ прискорбіемъ сознаться, что избранные мною герои большого дома были люди дюжинные, ничѣмъ не выдававшіеся изъ общаго колорита нашей сѣренькой жизни, и что я, какъ пѣвецъ ихъ мелкихъ радостей и страданій, стою очень не высоко, доказывая свою неспособность къ воспроизведенію великихъ событій и великихъ личностей. Но могу увѣрить читателя, что я не щадилъ усилій отыскать болѣе великихъ героевъ, болѣе кипучей жизни, болѣе высокихъ страстей, желая возвысить себя описаніемъ возвышенныхъ предметовъ, и, все-таки, усилія моего сильно разбитаго самолюбія остались

тщетными...

Теперь прологъ конченъ, исторія начинается, дѣйствующія лица дѣлають приличныя своимъ ролямъ физіономіи, ненужные актеры бѣгутъ за кулисы, и зрители успѣвають увидать изъ-подъ приподнятаго занавѣса только ихъ ноги...

* * *

Въ тотъ день, или, лучше сказать, въ тѣ три дня, съ которыхъ собственно начинается разсказъ, большой домъ не былъ разстроено рожденіемъ какого-нибудь человѣческаго образчика, но бѣжалъ въ ближайшій храмъ удостовѣриться въ дѣйствительности и законности вѣнчанія одного изъ „своихъ“, не подсматривалъ, кто первый изъ вѣнчающихся встанетъ на розовую подстилку и неминуемо вырветъ у судьбы для себя право на старшинство въ будущей семьѣ, не шептался по поводу обычной драки и глухихъ воплей въ жилищѣ портного Приснухина, но, тѣмъ не менѣе, домъ былъ видимо взволнованъ. Повсюду слышался какой-то зловѣще таинственный шопоть, на нѣкоторыхъ лицахъ выражались признаки

испуга, сожалѣнья и больше всего нетерпѣнья. Волненіе росло съ приближеніемъ къ квартирѣ Игнатъевны, но начиналось оно у самыхъ воротъ, гдѣ вы могли узнать причину его, подслушавъ разговоръ дворника съ какимъ-то мѣщаниномъ въ смазныхъ сапогахъ, въ длиннополомъ черномъ сюртукѣ, застегнутомъ до шея и засаленномъ на всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, до которыхъ могли касаться длинныя и худыя руки его владѣльца. Шея послѣдняго была обмотана черной шелковой тряпкой, состоявшей въ должности галстука и походившей на обрывокъ веревки. Мѣщанинъ, вѣроятно, и не подозрѣвалъ, что онъ съ этой веревкой на шеѣ очень походилъ на человѣка, почти покончившаго съ жизнью, сорвавшагося съ висѣлицы. Сходство сильно подкрѣплялось всею его вытянутою, узкою и костлявою фигурою. Встрѣтивъ его ночью, вы отсторонились бы отъ него, хотя онъ не былъ ни воромъ, ни разбойникомъ а жилъ честнымъ и прибыльнымъ трудомъ гробовщика.

— Что, еще не отправился? — спросить онъ такимъ тономъ, какимъ обыкновенно

спрашиваютъ про лѣнтыя, кончилъ ли онъ заданное ему дѣло.

— Нѣтъ еще, — лѣниво позѣвывая, отвѣтитъ дворникъ.

Онъ сидѣлъ на тумбѣ у воротъ и, поигрывая метлой, дѣлалъ узоры изъ кучи сметенной пыли.

— Долго мается! Ужъ одинъ бы конецъ да и на боковую, — замѣтилъ мѣщанинъ, вертя жадными и высматривающими глазами, похожими на глаза хищной птицы, ищущей падали.

Сходство съ сорвавшимся съ висѣлицы человѣкомъ заставляло думать, что онъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ друженъ съ этими птицами.

— Ну, да вамъ-то все равно, немного отъ него поживитесь, — проговорилъ дворникъ, подогнавъ метлой подъ хвостъ бѣжавшую развлечься собачонку. — Не знаю я, что вамъ за охота пришла изъ-за такой дряни сюда по жару переть. Дѣло-то все сломаннаго гроша не стоитъ!

— Копейка рубль бережетъ!.. Да я, впрочемъ, не для него шель. Это я мимоходомъ оста-

новился. Я вотъ тутъ черезъ двѣ улицы у купца Иванова былъ...

— А что? нешто сама-то померла?

— Померла. Тамъ ужъ теперь и полиція понаѣхала. Опечатываютъ все. Дѣти-то малолѣтнія остались. И вѣдь какъ пронюхаетъ эта полиція? Изъ Иванихи духъ вонъ, а красные воротники въ двери со своими печатями. Видно, деньгамъ нигдѣ пропасть не дадутъ. Опекать, вишь, дѣтей надо! Богаты, такъ вотъ и станутъ ихъ денежки опекать. Мой молодецъ тоже всю ночь провелъ у ихъ дома, ждать, когда она Богу душу отдастъ.

— Поладили?

— Еще бы! Я ужъ, благодареніе Богу, на нихъ не впервые работаю. Шокинъ хотѣлъ перебить. Да нѣтъ, — шалишь! Рыломъ, значить, не вышель такія работы справлять. И время-то нынче плохое, радъ-радъ, какъ какая-нибудь работишка навернется. Вотъ въ холеру такъ не то было... Тоже и матеріаль вздорожалъ, а господа скупаются, торгуются. Да что! Хоронить нонче вздумали въ необитыхъ гробахъ безъ глазету. Вотъ тутъ и получай бабыши!..

Въ эту минуту подъ ворота протряслась изъ лавочки старушонка, желавшая, повидимому, показать, что она бѣжитъ, и встрѣтилась съ содержательницею комнатъ Игнатьевною, бѣжавшею со двора и по дорогѣ натягивавшею на растрепанную голову платокъ.

— Ну, что, мать моя? — жалобно воскликнула старушонка.

— Преставился, голубушка моя, преставился! Охъ! Тихо умеръ — ровно заснулъ... Намъ, сиротамъ, долго жить велѣлъ. За гробовщикомъ бѣгу...

— Варька-то, я думаю, убивается?

— Охъ, ужъ и не спрашивай! — простонала слезливо, сморкаясь въ шерстяной шейный платокъ, Игнатьевна, очень довольная, какъ былъ бы доволенъ каждый изъ насъ на ея мѣстѣ, что Богъ привелъ похлопотать на чужихъ похоронахъ, знать всѣ подробности, предшествовавшія имъ, сдѣлаться черезъ это первымъ лицомъ на нихъ и обратить на себя вниманіе цѣлаго дома, какъ обращаютъ на себя вниманіе цѣлаго государства неизвѣстные прихлебатели извѣстныхъ покойниковъ. — А,

Филиппъ Ивановичъ! — воскликнула Игнатъевна, увидавъ мѣщанина:— васъ-то мнѣ и нужно. Семень Мартыновичъ приказалъ долго жить, такъ ужъ вы гробикъ-то подешевле по сосѣдству сдѣлайте.

— Дешевле денегъ не будетъ.

— Это что говорить!

— Мы съ нашимъ удовольствіемъ всегда готовы служить, когда вамъ угодно. Умрите, такъ мы васъ такъ похоронимъ, что и не услышите.

— Подите вы, грѣховодникъ, съ вашими шутками! Такое ли теперь время?..

— А что же? время какъ время! Или вы насчетъ того, что Семень Мартыновичъ-то умеръ?.. Такъ могу васъ увѣрить, что ежечасно въ году кто-нибудь да умираетъ. Такъ этакъ и ротъ пришлось бы запечатать-съ. Даже вотъ и теперь-съ, въ эту минуту, я думаю, что не только множество людей умираетъ, а, можетъ-быть, иного изъ нихъ и Семеномъ Мартыновичемъ зовутъ-съ. Право слово-съ! такъ что же тутъ печалиться?

Мѣщанинъ, какъ всѣ сухіе, отжившіе и похожіе на сорвавшихся съ висѣлицы людей

субъекты, очень любилъ разсуждать сухо, доказательно и хладнокровно. Извѣстно, что не отжившіе еще люди не разсуждаютъ, а спорятъ, но въ сущности это все равно.

Во время этихъ разсужденій вся компанія съ дворникомъ въ хвостъ добралась по черной, узенькой лѣстницѣ съ обкусанными временемъ ступенями до четвертаго этажа, гдѣ помѣщались ленныя владѣнія Игнатъевны. Всѣ путники пошли въ квартиру. Дворникъ, втянувшійся въ свою службу, не преминулъ подмахнуть метлой соръ на площадкѣ лѣстницы, за что его объявила грѣховодникомъ какая-то старушка, такъ какъ не слѣдуетъ убирать сору тамъ, гдѣ есть покойникъ; на этотъ упрекъ дворникъ проворчалъ: „ну да, вы все знаете“, поставилъ метлу въ уголь, покачалъ перила, пробуя ихъ крѣпость, потрогалъ замокъ дверей и затѣмъ послѣдовалъ за другими въ жилище.

Оно начиналось кухней, гдѣ была отгорожена половинкою ширмы, шкапомъ и комодомъ кровать хозяйки и гдѣ подъ печкой возились куры, сообщая кухнѣ своеобразный запахъ. На столѣ бѣгали въ волненіи прусаки,

видимо недоумѣвая, почему въ это утро хозяйка не пила чаю и лишила ихъ обычныхъ хлѣбныхъ крошекъ. Они, кажется, совѣщались о значеніи этого необыкновеннаго событія и значительно поводили усами. Далѣе находилась проходная комната вдовы капитана Акулины Елизаровны Успенской, женщины, имѣвшей видъ вареной груши, которую мужики продаютъ въ лѣтнее время. Лицо этой особы очень легко было спрятать подъ ладонью, такъ оно было бѣдно размѣромъ, и вообще вся она имѣла особенное свойство юркости скользить, выскользывать и вырастать, неизвѣстно откуда, передъ людьми, поражая ихъ своимъ жалобнымъ голосомъ, имѣвшимъ всего двѣ-три нотки для выраженія всѣхъ душевныхъ ощущеній, горя, радостей, страстей. Не знаю, были ли эти свойства слѣдствіемъ маленькаго роста или бѣдности, которая пріучаетъ дѣлать и не такіе потѣшные фокусы, но это было такъ; до причинъ мнѣ, какъ эпическому писателю, нѣтъ дѣла. За комнатою капитанши слѣдовала комната дочери маіора, тоже проходная, тоже раздѣленная „драпирую“, какъ

выражалась гордая, сухая и длинная маіорская дочь, имѣвшая громаднѣйшій лобъ, надъ которымъ по случаю неумѣстнаго вихра выстригались посрединѣ волоса, такъ что этотъ лобъ придавалъ лицу маіорской дочери египетское выраженіе, извѣстное всѣмъ знатокамъ древнихъ египетскихъ изваяній, то есть, когда она смѣялась, то вы должны были чувствовать въ этомъ смѣхѣ затаенныя слезы и глухой, какъ шумъ далеко скачущаго коня, ропотъ на судьбу. Слыша, напримѣръ, бойко произнесенное ею французское слово „драпир“, вы невольно должны были впасть въ тоску и воскликнуть: „О! затѣмъ ее не учили по-французски: она была бы счастлива“. Можетъ-быть, и это былъ фокусъ съ ея стороны, которому научила бѣдность, а, впрочемъ, какихъ лицъ не создаетъ мать-природа! Послѣдняя непроходная, но самая маленькая комната принадлежала до этого дня человеку, котораго добрые люди звали въ дѣтствѣ Сенюшкой и сироточкой и, замѣчая, что у него нѣтъ куса хлѣба, изъ сожалѣнія надѣляли грошовыми пряниками, цареградскими стручьими и подсолнечниками. Пото-

мъ добрые люди прозвали его Сенькой и бабочникомъ и драли за выбитыя бабками стекла и за лѣнность въ уѣздномъ училищѣ и выдрали двѣсти тридцать четыре раза. Послѣ двѣсти тридцать четвертой порки онъ былъ пожалованъ въ Семены Мартыновичи, въ приказную крысу, въ чернильную душу, въ міроѣда, въ взяточника, и, кромѣ этихъ общихъ многихъ титуловъ, прозванъ горемыкой и кротомъ, а теперь... Теперь кто-то захватывающимъ душу голосомъ шепчетъ ему тысячи ласкательныхъ, страстныхъ и сладкихъ прозвищъ, зоветъ его ими къ жизни и счастью, но онъ не откликнется ни на одно... Страшное дѣло смерть!.. Впрочемъ, я смѣюсь на похоронахъ людей и плачу въ день ихъ рожденія... Эта комната была чище другихъ, на окнахъ стояли горшечки съ дешевенькими цвѣтами, занавѣски у оконъ были не новы, но чисты и искусно подштопаны, въ простѣнкѣ висѣло завѣшанное зеркало, въ углу стоялъ диванъ, хранившій во всю длину углубленіе, въ которомъ смутно можно было узнать оттискъ, сдѣланный долго лежавшимъ человѣческимъ тѣломъ; здѣсь спалъ и

умеръ кротъ, а наискосокъ дивана стояла довольно нарядная кровать съ дѣвственно бѣлымъ пологомъ. На этой кровати спала обыкновенно „Варя“, „Варюшка“, „Варичка“, „ненаглядная“, „жизнь“, „счастіе“ чернильной души, міроѣда, приказной крысы, Семена Мартыновича — его четырнадцатилѣтняя дочь. Теперь это дитя стояло на колѣняхъ, положивъ голову на столъ, гдѣ лежалъ покойникъ, и горько рыдало, какъ никогда не рыдали вы, читающій отъ праздности эту исторію, читатель, — рыдало, не обращая вниманія ни на любопытные взгляды, ни на нѣжныя утѣшенія собравшейся вокругъ толпы, передъ которою какъ-то страшно вытянулся худой покойникъ. У него были закрыты глаза мѣдными пятаками, накрѣпко притянута платкомъ нижняя челюсть къ верхней и связаны на груди руки, у правой руки были подогнуты два крайніе пальца, а три другіе сложены для крестнаго знаменія, — точно эти люди боялись, что онъ сброситъ эти мѣдные пятаки, крикнетъ и взглянетъ на всѣхъ грозными глазами, чтобы испугать навѣкъ того, кто думаетъ сдѣлать вредъ его Варѣ. Эти пятаки

могли бы подѣйствовать страшно даже на твердые и выносливые нервы, если бы каждый изъ присутствовавшихъ не былъ погруженъ въ свои глубокія соображенія...

— Ну, не много онъ унесетъ тѣла съ собою, — проговорилъ мѣщанинъ, снимая мѣрку съ покойника.

— Исхудаль, исхудаль совсѣмъ голубчикъ!

— Оно, впрочемъ, и хорошо: нести легче будетъ, — сообразилъ мѣщанинъ.

— Ну, какъ отпоютъ, такъ тоже отяжелѣетъ, — рѣшилъ дворникъ.

— Извѣстное дѣло! Ужъ какой цепкой ни высохни, а какъ скажутъ: „Земля въ землю отыдетъ“, — такъ и отяжелѣетъ, земля, значитъ, станетъ тянуть свое.

— Это, я думаю, преданіе! — гордо усомнилась маіорская дочь, и въ ея лицѣ было видно, что ей самой прискорбно это сомнѣніе.

— Что намъ до этого за дѣло, что оно такое! А ужъ вѣрно такъ постановлено, — пустила въ ходъ свои жалобныя три нотки Акулина Елизаровна.

— Это точно-съ! — ввернулъ мѣщанинъ. — Вотъ теперь хоть бы и объ кошкѣ сказать. То-

же, кажется, такъ себѣ: дрянъ — скотина. Ну, а сколько бы ни ѣхало на телѣгѣ людей, все ничего, присади же къ нимъ только кошку — и пойдетъ лошадь въ мыло, въ мыло; совсѣмъ умается. Ужъ такое животное отъ Бога эта кошка!

Всѣ молчали, вѣроятно, скорбя о судьбѣ Варе и ея отца. Покойникъ попрежнему пугалъ своими пятаками. Читальщикъ-сосѣдъ гнусливо бормоталъ что-то себѣ подъ носъ, катая восковой шарикъ и выскабливая изъ-подъ ногтей грязь. Онъ читалъ у всѣхъ покойниковъ въ домѣ „по сосѣдству“, а плату нерѣдко получалъ натурою, то-есть штофъ въ день и приличную закуску.

— А деньги-то за гробъ, Авдотья Игнатьевна, оставятъ онъ или собирать отъ продажи имущества будете? — спросилъ мѣщанинъ, высматривая ястребомъ комнату.

— Нѣтъ, батюшка, на гробъ и попу оставилъ. Всѣмъ этимъ распорядился. Халата даже шить не велѣлъ, въ сюртукѣ приказать хоронить, да и тотъ сзади не разрѣзать.... Ужъ языкъ, это у него мѣшался, а говорилъ:- „Не надо халата!.. Что я — мастеровой, что ли?.. Не

рѣжьте сюртука, задомъ стать будетъ нельзя...“ Остальное-то продавать будемъ. Варюшкѣ деньги на первый случай нужны. Ничего-то у нея нѣтъ!..

— Да-съ, богатая невѣста осталась! Истинно безприданница!..

— Поди-ко, сюда полиція носу не покажетъ имущество опечатывать.

— Побойтся; что все на сургучѣ останется!

— Охъ! хлопотъ-то сколько! Не знаю я, справлюсь ли, успѣю ли все обдѣлать, — жаловалась Игнатъевна, и всѣ прочіе добрые люди признались, что у нихъ дѣла много, что едва ли они успѣютъ сдѣлать все нужное.

И когда же у человѣка бываетъ мало дѣла? Помните, читатель, катъ вы торопились надняхъ по дѣлу, когда вамъ попался вашъ знакомый и въ теченіе часа передавалъ вамъ и о родинахъ, и о крестинахъ, и о похоронахъ у какихъ-то Ивановъ Ивановичей и Матренъ Кузьминишнъ, а другой знакомый затащилъ васъ въ кондитерскую и рассказалъ вамъ смѣшную исторію Амаліи Ѳедоровны, любовницы Василія Васильевича, съ которымъ друженъ родственникъ вашего начальника?

Пропастъ дѣла было у васъ въ этотъ день, страшно вы торопились.

Толпа любопытныхъ, между тѣмъ, росла. Покойника ежеминутно осматривали, приподнимали надъ нимъ простыню. Боязливые люди, осмотрѣвъ его до мельчайшихъ подробностей, распросивъ всю его, всему дому извѣстную, исторію, трогали его за большой палецъ ноги, чтобы онъ не пригрезился имъ ночью, и сильно боялись, что патентованный способъ можетъ не помочь, какъ выдохшійся персидскій порошокъ. Они очень, очень боялись смотрѣть на покойниковъ! Мухи бродили по лицу трупа, какъ бы желая ободрить людей и сказать имъ: да смотрите, онъ и насъ нонѣ спугнуть не можетъ! Настала ночь, насталь еще день, время шло своимъ чередомъ, шумно, дѣятельно и, признаюсь съ сожалѣніемъ, очень прозаично, безъ всякой торжественности. И помилуйте! какая торжественность можетъ быть въ смерти какого-нибудь бѣдняка Семена Мартыновича въ чаду глубокихъ соображеній? Насталь и третій день. Черноглазая Варя въ черненькомъ ситцевомъ платьицѣ снова стояла у трупа,

въ послѣдній разъ рыдала надъ своимъ отцомъ. Вотъ передъ нею закрыли его крышкою и понесли съ лѣстницы, гдѣ раздавались крики разныхъ чиновниковъ, иногда черезъ мѣру и опасно либеральные.

— „Вотъ ужъ чисто петербургская лѣстница! — кричали безумные смѣльчаки. — Каковы у насъ домохозяева-то! Ой, вы меня придавили гробомъ! Выше, выше поднимайте на поворотѣ черезъ эти проклятыя перила. На конную площадь вывелъ бы я здѣшняго хозяина!“

Наконецъ, гробъ снесли внизъ, поставили на дроги, и двѣ клячи, вѣроятно, завидовавшія участи каждаго покойника, кряхтя, потащили дроги. Чиновники обтерли съ пальцевъ приставшее къ нимъ сусальное золото и спокойно выпрямились для шествованія за гробомъ, такъ какъ ихъ ропоть и протесты не навлекли на нихъ рѣшительно никакихъ дурныхъ послѣдствій. Все народонаселеніе большого дома было обращено въ глаза, изо всѣхъ оконъ торчали головы, матери отталкивали дѣтей, чтобы достать лучшее мѣсто, дѣти карабкались имъ

на спины, чтобы увидеть хоть что-нибудь, на дворъ была давка. Въ воротахъ вся толпа засуетилась, заговорила, загалдѣла и остановилась; въ заднихъ рядахъ люди встали на цыпочки и закинули кверху головы, чтобы дальше видѣть.

— Что такое случилось? Почему не ѣдутъ дальше? — кричали взволнованные голоса.

— Нельзя. Иваниху везуть. Подождать надо, — перебѣгало по рядамъ.

— Худая примѣта. У дворницкой остановились. Помереть дворнику, — рѣшила слесарша.

— Ну, вотъ еще! Это по причинѣ лошадей остановили, а не онѣ сами по себѣ остановились, — заспорила другая баба.

— Это все равно.

— Все равно, да не одно!

— Экая умная! всѣ порядки знаетъ, тебѣ вѣрно кулъера прислали съ депешой, — озлилась слесарша.

— Ну, да, кулъера!

— Усь, усь,хвати ее за космы-то! — крикнулъ халатникъ-мастеровщина.

Бабы напустились на него. Неизвѣстно,

чьмъ бы это кончилось, если бы дроги не тронулись, и самихъ бабъ не увлекла все увлекающая за собою толпа.

— Взгляни на эту праздную чернь, — говорила генеральша своему сыну, выходя съ лорнетомъ въ рукъ на балконъ и раздвигая дорогіе цвѣты. — Чего сбѣжались смотрѣть? Похоронъ не видали! И это въ будни, когда у нихъ работа стоитъ. Послѣ этого жалѣй ихъ, сочувствуй ихъ нуждамъ!

— Кто же не знаетъ теперъ, что они лѣнтяи, тунеядцы? дураки одни могутъ имъ сочувствовать, — отвѣтилъ сынъ, выдвигая голову за рѣшетку балкона.

— Вонъ генеральша съ сыномъ на похороны смотреть, — говорили въ толпѣ глупой черни, указывая на балконъ и не зная, что никакая генеральша не унижится до такого глупаго любопытства, что ей нѣтъ на это времени, и что она интересуется не похоронами, а просто желаетъ на дѣлѣ убѣдиться въ грубости, праздности и отвратительныхъ привычкахъ черни. Съ этою же цѣлью оторвался отъ своихъ великихъ трудовъ и подошелъ къ окну на зовъ своей жены одинъ изъ нашихъ

славныхъ писателей, жившій въ домъ; но гений, какъ это всегда случается, не былъ замъченъ толпой...

Между тѣмъ, тѣло Семена Мартыновича поѣхало за богатымъ погребальнымъ поѣздомъ купчихи Ивановой, точно и его назначили для увеличенія и безъ того длинной процессіи. Впрочемъ, Игнатьевну и ея вассаловъ радовало это стеченіе обстоятельствъ.

— Вотъ ужъ не ждалъ онъ, голубчикъ, что ему такое счастье выпадетъ. И попы-то, и пѣвчіе впереди идутъ, путь ему въ царствіе небесное указываютъ, — говорила жалобнымъ голосомъ капитанша.

— Да, да, не всякій такого счастья дождется, — соглашалась какая-то особа въ поношенномъ салопѣ, приставшая по дорогѣ въ провожатымъ. — А что, видно, онъ бѣдный былъ?

— Охъ, ужъ и не говорите! Меня спросите, видѣла я его нужды-то. Штаны самъ себѣ шилъ, носки штопаль!

— Охъ ты, Господи, чиновникъ-то!.. Сиротъ вѣрно оставилъ?

— Да, вонъ дочь идетъ...

— А мальчикъ-то, емназистъ, что съ ней идетъ, тоже сирота, племянникъ какой-нибудь?

— Нѣтъ, это чужой ей, это мой сынишка, — сказала капитанша.

— Мм!.. Ну, а насчетъ судьбы-то дочери сдѣлать онъ распоряженіе?

— Какое распоряженіе? Началь онъ ей, должно-быть, наставленье читать. „Но живи...“ — говоритъ, — да и замолчалъ; кашель началъ его душить. Мы ужъ и то, и другое, — поотдохнулъ. Спрашиваемъ: „Семень Мартыновичъ, ты, батюшка, что-то сказать хотѣль Варѣ“ — Рукой замахать. Мы и то, и се, — Молчить; вѣрно языкъ у него отнялся... или что. Такъ и не знаетъ она, наша голубушка, что онъ ей сказать хотѣтъ. Не живи! Вотъ теперь и догадывайся, что онъ думалъ. Не живи! А какъ не жить, если самъ ей жизнь далъ? Руки на себя наложить, что ли? Такъ для этого и родиться не стоило. Не живи! вотъ оно слово-то!

А дроги все подвигались впередъ...

Отпѣли купчиху Иванову въ особенной церкви, Семена Мартыновича въ общей, и

обоихъ зарыли въ одинаково тѣсныя, въ одинаково темныя и безотвѣтныя могилы. Гости поѣхали въ собственныхъ экипажахъ, на наемныхъ дрожкахъ и потащились пѣшкомъ на поминки. Много высказала разныхъ глубокихъ соображеній у Ивановыхъ и не менѣе того у Игнатьевны.

— И умеръ то онъ, голубчикъ, въ экое время, весною, когда жильцовъ и собаками не отыщешь, такъ и рассчитывай, что два мѣсяца комната простоить пустая, — говорила Игнатьевна, въ которой на минуту проснулись эгоистическіе расчеты. Потомъ опять пришла ей на умъ продажа имущества для помощи Варѣ. — Боюсь я, послѣ покойника платья не купятъ. Всякій боится, знаетъ, что оно тлѣетъ на челоуѣкѣ, лѣзетъ и разлетается, точно кто-нибудь силой тайною тянетъ его и снизу, и сверху, и въ стороны...

— Ахъ, это преданіе! — опечалилась своимъ собственнымъ сомнѣніемъ маіорская дочь.

— Ну, ужъ нѣтъ-съ! это извѣстно, что сорокъ дней душа-то къ мукамъ готовится, по землѣ летаетъ, ни въ раю, ни въ аду, и это

она-то и дѣлаетъ.

— Вы только свѣшайте его на вѣсахъ, да замѣтьте, сколько вѣсу, такъ все какъ рукой снимете. Это дѣло всѣхъ извѣстное, — утѣшила капитанша.

— Вотъ мы теперь тутъ разсуждаемъ, а его душа, можетъ-быть, здѣсь носится, грѣхи свои оплакиваетъ, молитвъ нашихъ грѣшныхъ просить. Все-то ей теперь ясно, и вражда ваша, на грѣхъ ее наводившая, и прегрѣшенья старья. Гнѣвно смотритъ она теперь на насъ, искусителей. Охъ, тяжело ей, бѣдной! — расчувствовалась Игнатьевна, у которой сочились слезы сожалѣнія за бѣдную душу. — Разскажите-ка намъ, какъ это тамъ вы по божественному знаете, — обратилась она къ читальщику, наливая ему рюмку водки изъ пустѣвшаго штофа.

Читальщикъ выпилъ, крякнулъ и замогильнымъ голосомъ началъ разсказывать замогильныя тайны, точно онъ самъ недавно вернулся изъ далекаго путешествія на тотъ Свѣтъ...

Вечеръ тихо наступалъ и бросалъ тѣнь на окружающіе предметы... Особенно чутко и

болѣзненно вслушивался въ гробовые рассказы отставного дьячка маленькій гимназистъ, сынъ капитанши, прижавшійся съ матери и косо поглядывавшій за полурастворенную дверь, за которой была тьма. Изрѣдка заставляли его вздрагивать возившіяся въ кухнѣ куры... Одно, повидимому, главное лицо молчало и не то прислушивалось къ рѣчамъ, не то о чемъ-то размышляло. Это лицо — была Варя.

— Не боишься ли ты, Варя, здѣсь спать? — спросила Игнатъевна, когда разошлись гости.

— Нѣтъ.

— Да и я-то что горожу! Вѣдь ты и при покойникѣ тутъ спала, а теперь и подавно бояться нечего, ты ему не врагъ была, дурного ему не сдѣлала. Не придетъ онъ тебя укорять, что ты ему грѣховъ прибавила. Спи, голубчикъ мой!

Варя простилась съ Игнатъевной, отъ которой пахло водкой, и осталась одна въ комнатѣ, гдѣ по лѣтнему положенію не было и свѣчи. У ней вдругъ сжалось сердце отъ непонятнаго страха. Ей помнилось, что здѣсь стоялъ покойникъ и — странное дѣло! — онъ казался ей не отцомъ, не ея любимымъ отцо-

мъ, а просто страшнымъ покойникомъ, съ пятаками вмѣсто глазъ, съ грознымъ лицомъ, покойникомъ, котораго душа мучается въ зги минуты, пугаетъ враговъ, не находитъ себѣ мѣста и носится надъ землей, иногда стонетъ и проситъ молитвъ, молитвъ и прощеній... Варя оглядѣлась: ея кровать съ бѣлымъ пологомъ стояла, какъ катафалкъ съ бѣлымъ балдахинномъ; дѣвочка не рѣшилась лечь на нее и, крадучись, сѣла на кресло, прижалась въ уголокъ и закрыла глаза руками. По ея тѣлу то пробѣгала дрожь, то бросало ее въ жаръ, передъ глазами носились какіе-то ужасные призраки, все смутнѣе и смутнѣе. Наконецъ, ея руки медленно упали на колѣни, голова опустилась на грудь, остриженные волосенки выбились изъ-подъ траурнаго чепчика и рассыпались по лицу: она спала. А сумерки вечера побѣлѣли, и въ окно глядѣла блѣдная, безстрастно спокойная, петербургская майская ночь, безъ звѣздъ, безъ мѣсяца, съ безслѣдно тающими въ воздухѣ облаками, не сулящими ни освѣжительной грозы, ни истребляющаго града, ни благодатнаго дождя, ночь похожая и на разсвѣтъ, и на сумерки, и, болѣе всего,

на призракъ, созданный больнымъ
воображеніемъ, и обливала она своимъ
блѣсоватымъ свѣтомъ и безъ того блѣдное
лицо дѣвочки, дѣлая его еще блѣднѣе...

Что могло случиться и что случилось на дѣлѣ послѣ похоронь

На третій день послѣ похоронь, содержательница школы въ большомъ домѣ, госпожа Скрипицына или mademoiselle Skripizine, какъ называлъ ее учитель-французъ, сидѣла въ ожиданіи сбора ученицъ въ своемъ кабинетѣ-гостиной и такъ чинно, граціозно и медленно пила недорогой кофе, что если бы въ комнатѣ имѣлось постороннее лицо, то можно было бы предположить, что она не пьетъ, а только даетъ урокъ, какъ должно пить кофе благовоспитаннымъ людямъ съ развитымъ вкусомъ. Можетъ-быть, это и въ самомъ дѣлѣ была репетиція урока, если не самый урокъ. Предположеніе, тѣмъ болѣе похожее на истину, что и самая дорогая чашка, изъ которой пился недорогой напитокъ, болѣе походила на красивую игрушку, нежели на настоящій, назначенный на полезное употребленіе, сосудъ. Госпожа Скрипицына

считала себя аристократкой по происхожденію и потому была ревностной помощницей нашего общества въ его ожесточенной войнѣ противъ грубаго и убивающаго всякія выюокія стремленія утилитаризма. Ея глаза, когда опустѣла игрушка, — на что, при всей убійственной медленности, не требовалось много времени, — неторопливо и съ приличной мыслящимъ людямъ задумчивостью, устремились на письменный столъ; съ него взялась французская книга: «Мученики христіанства Шатобріана», развернулась наудачу и положилась на колѣни. Сдѣлавъ это, наставница продолжала попрежнему смотрѣть на столъ и не думала читать; вѣроятно, оно такъ и слѣдовало, потому что и книги бываютъ разныя: иную нужно прочесть, другую подержать на колѣняхъ. Впрочемъ, и столъ госпожи Скрипицыной заслуживалъ вниманія и могъ оторвать челоуѣка отъ любой книги. Онъ былъ искусно сдѣланъ изъ орѣховаго дерева и окруженъ точеными перильцами. Посрединѣ его стояла чернильница, отлично поддѣланная подъ бронзу и проданная за бронзовую; около нея такіе же

подсвѣчники; далѣе лежало нѣсколько пресъ-папье, изображавшихъ голову араба, женскую руку, ящерицу и тому подобныя крайне интересные предметы; передъ чернильницей лежалъ отдѣланный перламутромъ портфель для почтовой бумаги и три перламутровыхъ съ затѣйливою рѣзьбою ножа. Въ углахъ находились портреты въ красивыхъ рамкахъ, около нихъ виднѣлись вазочки для перьевъ и карандашей, и стоялъ красивенькій бронзовый мальчикъ, державшій термометръ. Единственное пустое мѣсто занималъ томъ путешествія ко святымъ мѣсяцамъ Авраама Норова. Норовъ лежалъ иногда на Шатобріанѣ, иногда же, наоборотъ, Шатобріанъ лежалъ на Норовѣ; это дѣлалось прилично случаю, то-есть смотря по тому, говорили или нѣтъ по-французски посѣтители Скрипицыпой. Неизвѣстно, какъ находилось мѣсто на этомъ столѣ, если нужно было написать письмо, но писанье писемъ — утилитаризмъ, потому объ этомъ не стоитъ и говорить. Не видавъ этого стола, даже трудно повѣрить, что онъ могъ помѣстить такую кучу предметовъ, безъ сомнѣнія, необходимы-

хъ, такъ какъ иначе зачѣмъ бы имъ было и лежать на столѣ и заставлятъ какого-нибудь новаго Сизифа въ юбкѣ заниматься ежедневно сметаніемъ пыли съ бесполезныхъ вещей? Пыль же сметалась съ каждой вещицы каждый день. Но не одинъ этотъ столъ отличался изумительною вмѣстительностью. Вся комната казалась на первый взглядъ свѣжему человѣку складочнымъ магазиномъ, и нужень былъ нѣкоторый промежутокъ времени, чтобы понять, что это дѣйствительно жилой покой, а не магазинъ, что и восхитительная козетка, стоявшая посрединѣ комнаты и являвшаяся на первомъ шагу посѣтителя баррикадой къ дальнѣйшему шествованію, была столъ же необходима, какъ двѣ пустыя урны у оконъ, какъ на столѣ у зеркала изящное блюдечко съ визитными карточками, съ которыхъ тоже стиралась пыль, какъ фальшивый каминъ, какъ портретъ Авраама Сергѣевича Норова, висѣвшій надъ письменнымъ столомъ, какъ десятки дорогихъ растений въ не менѣе дорогихъ горшкахъ и рѣшеткахъ орѣховаго дерева, однимъ словомъ, все въ комнатѣ было не менѣе необходимо, чѣмъ са-

ма госпожа Скрипицына. Да не подумаетъ читатель, что я злостно хочу унижить одну изъ моихъ героинь, намекнуть на сходство ея сердца съ складочнымъ магазиномъ, съ пустою урною или съ блюдечкомъ для визитныхъ карточекъ. Совсѣмъ нѣтъ! Я, говоря это, даю понять, что создательница воплотила себя въ своемъ созданіи, и соглашаюсь съ преданнымъ ей душой и тѣломъ учителемъ-француаомъ, нерѣдко восклицавшимъ: «Глядя на эту комнату, чуешь присутствіе de mademoiselle Skripizine!» Не знаю, о чемъ она думала во время нашей прогулки по ся комнатѣ, можетъ-быть, присутствіе назойливыхъ соглядатаевъ, вторгающихся въ чужія владѣнія, помѣшало ея геніальному уму придумать новое украшеніе для своего жилища. Но намъ легко успокоить свою совѣсть, такъ какъ слѣдомъ за нами къ ней вошла ея горничная и доложила о приходѣ Авдотьи Игнатьевны.

— Кто она? — спросила mademoiselle Skripizine, не безъ ловкости щуря глаза, надъ которыми хотя и не имѣлось бровей, но тянулись по тѣлу тонкія черныя полосы.

— Въ нашемъ домѣ живетъ-съ, комнаты жильцамъ отдаетъ.

— Баба какая-нибудь?

— Баба-съ. Я вамъ, сударыня, говорила-съ вчера объ ней, какъ у нея...

— Ахъ, какъ ты наивна, Даша! Неужели ты думаешь, что я слышу и помню все то, что ты мнѣ болтаешь по вечерамъ? — сострадательно улыбнулась госпожа Скрипицына.

Она въ самомъ дѣлѣ ничего, совсѣмъ ничего не помнила изъ вседневной болтовни Даши. У нея было столько заботъ, занятій и размышленій.

— Какія же могутъ быть отношенія между мной и ею? — спросила барышня, пожимая плечами послѣ минутнаго раздумья и внимательно поправляя бѣлые нарукавники. — Спроси ее, — добавила она: — о чемъ она пришла меня просить?

— Она пришла съ дочерью того, что третьяго дня хоронили, — промолвила Даша, забывшая, повидимому, имя покойника.

— Аа!.. Ну, такъ что же?.. Классы начнутся черезъ полчаса... Впрочемъ, вели имъ подождать въ передней, я выйду.

Горничная вышла съ повелѣніемъ. Mademoiselle Skripizine медленно встала, лѣниво подошла къ зеркалу, съ какою-то граціозной истомой поглядѣла, хорошо ли щурятся ея глаза, вздернула складки платья на груди, неизвѣстно почему сохранившей полноту, хотя лицо, шея и руки Скрипицыной были чрезвычайно тощи. Потомъ, тщательно поправивъ прическу, она тихо вышла въ переднюю и, снова сощуривъ глаза, оглядѣла неизвѣстную ей Игнатьевну и извѣстную ей ея ученицу Варю.

— Bonjour, mon enfant! Mais qu'avez-vous? Est-ce qu'on porte le bonnet dans votre âge?.. C'est stupide! — неторопливо и хладнокровно проговорила она своей ученицѣ и обратилась къ Игнатьевнѣ съ повелительными словами: — ты можешь идти!

— Матушка-мадамъ, у меня есть просьба! — жалобно произнесла Авдотья Игнатьевна, видя, что нуждающаяся въ помощи сирота Варя ничего не отвѣтила на привѣтствіе нѣжной наставницы.

— Что тебѣ нужно?

— Ужъ сдѣлайте такую божескую милость,

позвольте Варюшѣ-то доходить этотъ мѣсяцъ въ пансіонъ, не пропадать же заплаченнымъ деньгамъ, а можетъ все же чего-нибудь она еще понахватается.

— Пусть ходитъ! — снисходительно разрѣшила содержательница школы, выслушавъ безъ улыбки простодушную просьбу Игнатъевны, и даже не подумала, какъ не подумалъ бы каждый изъ насъ простодушныхъ русскихъ людей на ея мѣстѣ, что тутъ и просить было не о чемъ.

— Награди васъ Богъ за вашу добродѣтель, а то что ей болтаться-то дома, вѣдь тоже не скоро въ магазинъ ее опредѣлишь...

— Въ какой магазинъ?

— Къ портнихѣ какой-нибудь отдать хотимъ.

— Развѣ вы и она родныя?

— Гдѣ намъ, матушка-мадамъ, вѣдь она благородная.

— Что же ея родные?

— Какіе родные? У нея одинъ Отецъ Небесный, всѣхъ насъ грѣшныхъ Заступникъ, родной, — отвѣтила Игнатъевна и, перекрестившись, высморкала носъ концомъ шерстяного

шейнаго платка.

— Гм! — задумчиво произнесла Скрницыпа, постояла съ минуту и, кивнувъ головой, пошла въ свою комнату.

Игнатъевна взялась за ручку двери, чтобы уйти, когда Скрипицына съ порога дверей обернулась къ ней и сказала:

— Ты подожди отдавать ее въ магазинъ. Я подумаю, можно ли это.

— Будьте мать родная! подумайте, матушка-мадамъ, подумайте. Ужъ мы и ума не приложимъ, что съ ней дѣлать, мы вѣдь люди темные. Вотъ, говорятъ, что ее въ анститутъ можно отдать, да поди, сунь-ка носъ туда наша сестра, такъ какой-нибудь тамъ пѣтухъ индѣйскій, швейцаръ, булавою своей шею на-костыляетъ, вотъ тебѣ и будетъ анститутъ, наука: не суйся, ворона, въ высокія хоромы! Вѣдь не на улицу же ее, бѣдную, выбросить, чтобъ подобрали да призрѣли! — разсуждала Игнатъевна, не замѣчая, что двери школы давно закрылись за нею, и что она, Игнатъевна, уже шагаетъ по лѣстницѣ, возвращаясь въ свое феодальное государство.

Mademoiselle Skripizine медленно походила

по своему кабинету, поправила разныя вещицы на себѣ и на своемъ столѣ, оборвала три желтыхъ листа съ цвѣтовъ, пощурила для практики глаза и, наконецъ, услышавъ бой часовъ, приняла такое безстрастное выраженіе лица, какъ будто приготавлилась позировать въ роли статуи правосудія, и пошла въ классы. Тамъ уже собрались дѣвочки и тихо шушукались между собою, но едва пошевелилась ручка двери, какъ шушуканье утихло, и въ комнатѣ можно было слышать одно шуршанье шелковаго платья наставницы и легкую поступь французскаго учителя. Наставница осмотрѣла классъ и ровнымъ голосомъ произнесла:

— Mademoiselle Rabon, priez!

Рабонъ стала читать молитву на французскомъ языкѣ, какъ это дѣлалось всегда передъ французскимъ урокомъ. Утреннія занятія начались. Дѣвочки удивлялись присутствію наставницы, что бывало только во время экзаменовъ. Уже нѣсколько разъ прозвучало въ классѣ: Adam, redoutant la présence de Dieu и т. д., когда пришла очередь отвѣчать Варѣ. Она начала говорить урокъ; mademoiselle

Skripizine вся обратилась въ слухъ, поправляла ученицу на каждомъ грубо произнесенномъ *le* и *r*, не похожемъ на *r* Людовика XIV. Потомъ спросила дѣвочку:

— Сколько тебѣ лѣтъ?

— Четырнадцатый годъ.

— Покажи мнѣ твою тетрадь для диктовки.

Варя показала наставницѣ тетрадь съ розовыми листиками протечной бумаги и бѣлыми атласными ленточками. Наставница сочла всѣ ошибки, подвела имъ итогъ, посмотрѣла издали на почеркъ и замѣтила:

— Ты пишешь писарскимъ почеркомъ, женщина не должна такъ писать. Это не принято. Садись!

Классъ кончился.

— *Mesdames*, Скрипицына сказала Крыловой: ты, — кричали дѣвочки другъ другу.

— Почему она сказала ей: ты? Не будетъ ли она и намъ говорить: ты?

— Я сама скажу ей: ты! Меня тамап возьметъ послѣ этого изъ ея пансіона.

— Меня и то бранили за то, что я рубля мѣдными деньгами не могу отсчитать.

Приходъ жиденькой гувернантки и нача-

ло рукодѣльнаго класса прервали этотъ шумъ, въ которомъ Варя, по обыкновенію, играла роль безмолвнаго существа, что начинаетъ тревожить меня за ея умственныя способности. Въ половинѣ класса явилась Скрипицына и спросила работы Вари. Осмотрѣвъ разныя вышитыя подстилки подъ колокольчики и лампочки, бисерныя кошельки и воротнички, наставница сдѣлала нѣсколько замѣчаній и, когда классъ кончился, сказала Варѣ:

— Иди обѣдать съ пансіонерками!

Варя повиновалась, не спрашивая ничего, ни о чемъ не разсуждая. Послѣ обѣда начались вечернія занятія; Варя снова подверглась экзамену; кончился и онъ, дѣвочка собралась идти домой.

— Иди заниматься съ пансіонерками! — приказала содержательница школы.

Ученица повиновалась. Между пансіонерками начался шопоть. Въ комнатѣ носился чадъ глубокихъ соображеній. Насталъ ужинъ. Послѣ ужина госпожа Скрипицына позвала горничную и велѣла привести Варю. Варя явилась тихая, робкая и стала у дверей извѣстнаго читателю кабинета. Со

стѣны тайный совѣтникъ со звѣздой
смотрѣль съ любопытствомъ на дѣвочку, ко-
зетка гордо загоразживала ей путь.

— Подойди сюда, — произнесла Скрипицы-
на и зорко осмотрѣла походку Вари. — Тебя
хотятъ отдать въ магазинъ къ портнихѣ. Ты
благородная, а тамъ живутъ простыя
дѣвчонки. Какая-нибудь баба, въ родѣ той, у
которой ты жила со своимъ отцомъ, — при
словѣ «отецъ» Варя начала тихо плакать, —
какая-нибудь баба, говорю я, считаетъ столь
же возможнымъ бросить дочь дворянина въ
этотъ омутъ безнравственности, неприличій
и грязи, какъ высморкать свой носъ въ шер-
стяной шейный платокъ. — Наставница
приостановилась, чтобы дать понять Варѣ си-
лу своей собственной наблюдательности. —
Но благородные люди думаютъ иначе. Ихъ
святой долгъ, ихъ обязанность спасать отъ ги-
бели равныхъ или, по крайней мѣрѣ, почти
равныхъ съ ними. Они готовы жертвовать со-
бою для спасенія другихъ. Это высокое нрав-
ственное преимущество развитыхъ надъ
неразвитыми, благородныхъ надъ неблаго-
родными. Я рѣшилась пожертвовать долею

своего спокойствія, чтобы спасти тебя. Ты остаешься у меня.

Варя, которую такъ же не изумила эта рѣчь, какъ слово ты, сказанное ей впервые въ этотъ день наставницею, тихо плакала и молчала. Госпожа Скрипцына ждала и была въ правѣ ждать экзальтированныхъ благодарностей, слезъ умиленія и восторга, но загрузѣвшій между неблагородными людьми ребенокъ остался неподвиженъ и тупоумно хныкалъ Богъ знаетъ о чемъ, хныкалъ передъ зарею новой жизни и яркаго счастья. Это немного смутило и оскорбило наставницу.

— Тебя хотятъ отдать въ магазинъ, — начала она снова своимъ ровнымъ, холоднымъ, какъ приговоръ судьбы, голосомъ. — Другого исхода для тебя нѣтъ. Никто въ цѣломъ мірѣ, ты знаешь, что міръ состоитъ изъ нѣсколькихъ сотенъ милліоновъ людей — пойми же это хорошенько! — никто, рѣшительно никто изъ этихъ сотенъ милліоновъ людей не думаетъ, не заботится, не хочетъ заботиться о твоей судьбѣ. Ты всѣмъ имъ чужая, — что я говорю! — ты про-

сто не существуешь для нихъ. Если тебя выбросятъ на улицу, то ты пробудешь на ней часы, дни, ночи, тебѣ даже не подадутъ гроша, какъ нищей, потому что каждый подумаетъ: негодница, на пряники просить! Ты навѣрное слышала эти слова даже отъ своего отца, когда у него просили милостыни дѣти. Правда: ты слышала?

— Слышала, — глухо прошептала Варя.

— Я и не сомнѣвалась. Всѣ это слышали. Нѣтъ человѣка, который бы не слыхаль этого... кто скажетъ, что не слыхаль, тотъ солжетъ... Итакъ, ты проходишь одна до тѣхъ поръ, пока не упадешь отъ голода, отъ изнеможенья, отъ злобы, и тогда тебя подберетъ какой-нибудь пьяный, грубый полицейскій солдатъ, чтобы отвести тебя, какъ бродягу, въ полицію, гдѣ содержатъ воровъ, нищихъ, пьяницъ. Они встрѣтять тебя наглымъ смѣхомъ, и едва ли ты спасешься отъ гибели... О тебѣ публикуютъ въ газетахъ, будутъ ждать, когда явятся родственники. Ихъ у тебя нѣтъ... И тогда — тогда тебя отправятъ въ нищенскій комитетъ, пройдутъ дни, недѣли, мѣсяцы, прежде чѣмъ тебя бросятъ въ какой-нибудь

пріють не имѣющихъ родни, неблагогородныхъ дѣтей. Но и для этого людямъ нужно прежде выбросить тебя на улицу, ихъ эгоизмъ не позволяетъ имъ сдѣлать это: испорченные, загрубѣлые, они, все-таки, боятся позднихъ упрековъ совѣсти и вотъ тебя хотятъ отдать въ магазинъ...

Скрипицына выпила стаканъ воды, можетъ-быть, было бы не худо выпить воды и Варѣ, но она не попросила, да и графинъ, по несчастному стеченію обстоятельствъ, былъ пусть.

— Но знаешь ли ты, что значить быть ученицей въ магазинѣ, какая тамъ жизнь? Тамъ тебя не будутъ учить ничему, рѣшительно ничему, что дѣлаетъ человека человекомъ, равняетъ его съ ближними, тамъ даже не научатъ тебя необходимымъ каждому христіанину истинамъ религіи, — на это никто не обращаетъ вниманія, хотя и требуютъ нравственности отъ этихъ людей, — и ты, можетъ-быть, будешь молиться Богу по привычкѣ, по инстинкту, но ты не будешь знать, что такое Богъ? Ты, можетъ-быть, и не развратишься, но отъ этого удержишь тебя

случай, а не сознание, что это грѣхъ, что это порокъ! Зато тебя заставитъ шить, цѣлый день шить, и если понадобится какой-нибудь другой богатой женщиной къ спѣху бальное платье, то тебя заставятъ шить и ночью въ грязной, сырой, душной комнатѣ, почти въ подвалѣ, набитой до-нельзя злыми, оборванными, простыми дѣвчонками, дочерями кухарокъ, дворничихъ, прачекъ, солдатокъ... Ты будешь спать на одной постели съ десяткомъ этихъ дѣвчонокъ, больныхъ, покрытыхъ слоемъ грязи, заѣденныхъ насѣкомыми, будешь дышать зараженнымъ ими воздухомъ и, чтобы не зябнуть въ холодныя зимнія ночи, прижмешься къ этимъ дѣвчонкамъ, будешь грѣться ихъ ядовитой теплотой...

Скрипицына смолкла на мгновение; ей хотѣлось высказать всю горькую правду. Она прошлась по комнатѣ.

— Вонъ, взгляни! — злобѣщимъ голосомъ произнесла она, подводя Варю къ окну и показывая ей на узкую улицу, застроенную высокими, какъ стѣны тюрьмы, домами, походившую въ сумеркахъ туманнаго вечера на угрюмое подземелье.

По этому подземелью бѣшено неслись лихіе экипажи лихихъ господъ; тянулись съ поклажей ломовые извозчики, ругаясь съ встрѣчными легковыми; частили мелкими шажками бездушныя фигуры мертвенно приличныхъ чиновниковъ; шаталась пьяая и оборванная мастеровщина, оглашая воздухъ циническою, доходившею въ своей ироніи до ужаса, бранью; сѣменили ногами истаскавшіеся юноши и съ безстыдствомъ нетерпѣливаго разврата, не стѣсняясь передъ прохожими, поддаваясь только своимъ животнымъ побужденіямъ, бѣжали за нарумяненными жертвами общественнаго темперамента, заглядывали имъ подъ шляпки, шепча какія-то рѣчи, не тайныя въ этой обстановкѣ даже для ребенка, да, суясь подъ ноги людей, дружились въ какомъ-то бѣшеномъ чаду никому не принадлежавшія собаки... — Вонъ, взгляни, — продолжала Скрипицына:— на эту грязную босую дѣвочку съ подвязанной щекой, затертую, затерянную въ грубой толпѣ народа. Это ученица изъ магазина. Ее послали куда-нибудь въ лавку или даже, мнѣ скверно сказать это слово, — въ кабакъ! Съ

тобой было бы то же самое. Представь себѣ, ты уже не дитя, ты можешь это представить, что твой отецъ, дворянинъ, служившій тридцать лѣтъ отечеству, имѣвшій регалии, увидѣлъ бы съ небесъ, что его дочь, оборванная, прибитая, идетъ босикомъ за водкою для мужа своей хозяйки, идетъ въ то мѣсто, гдѣ шумятъ пьяные мужики, погибшія женщины, полунагіе люди, гдѣ человѣкъ становится ниже животнаго и готовъ оскорбить, опозорить даже беззащитную дѣвочку, готовъ погубить ее... Вотъ отъ чего я тебя спасаю!

Послѣднія слова и выраженіе, съ какимъ они произнеслись, полныя тихаго спокойствія и гордаго достоинства, стоили знаменитаго: *qu'il mourût*.

Скрипицына замолчала. Варя рыдала, какъ въ день смерти своего отца, но не благодарила. Неужели этотъ ребенокъ по своей тупости не чувствовалъ величины благодѣянія или — не это невѣроятно! — онъ понималъ, что благодѣяніе само по себѣ есть самая величайшая награда для благодѣтеля?

— О чемъ ты плачешь? — холодно спросила Скрипицына.

— По-озвольте мнѣ про-проститься, — всхлипывала Варя.

— Съ кѣмъ?

— Съ ни-ми... Съ на-шими... Съ Игнатьев-ной...

Такая неблагодарность возмутила Скрипицыну.

— Вотъ глупости! Развѣ прощаются съ хозяевами, переѣзжая отъ нихъ? Гдѣ это видно? Неужели, если бы я стала переѣзжать, то и мнѣ нужно было бы идти къ нашему хозяину въ лабазъ прощаться? Нелѣпость! Твои вещи перевезутъ сюда завтра — и конецъ!

— Онѣ до-обрыя! — зарыдала Варя.

— Добрыя! Ты такъ мала и неразвита, какъ я вижу теперь, что не понимаешь, кто добръ, кто золь. И какъ можетъ быть доброю какая-нибудь баба, отдающая внаймы комнаты, какъ ей показать свою доброту жильцамъ? И что за дѣло жильцамъ до доброты, до характера хозяевъ! Объ этомъ даже неприлично справляться, это слѣдствіе привычки мѣшаться въ чужія дѣла, это первое начало страсти къ сплетнѣ, страсти низкой, марающей высокое достоинство человѣка. Тебя уже

успѣли испортить, но я надѣюсь, что я успѣю исправить тебя, развить. Я приложу всѣ свои силы, пожертвую всѣмъ, чтобы ты развилась... Теперь иди спать.

Госпожа Скрипицына протянула Варѣ руку для цѣлованія. Варя тихо поцѣловала ее и съ поникшей головой вошла въ спальню, гдѣ уже спали пансіонерки и жиденъкая гувернантка. Варя тихо раздѣлась и легла въ постель; ей стало тяжело, страшно, по тѣлу пробѣгала лихорадочная дрожь. Черезъ четверть часа природа взяла свое, и дѣвочка начала дремать. Въ полуснѣ она почувствовала надъ собой теплое дыханье, и кто-то едва слышнымъ поцѣлуемъ коснулся ея щеки; она открыла глаза и увидала удаляющуюся на цыпочкахъ жиденъкую гувернантку. По лицу Вари пробѣжала ясная улыбка, и въ эту ночь ей снились свѣтлые сны...

Видѣла она во снѣ знакомую комнатку съ кисейными занавѣсками, съ кроватью, украшенной бѣлымъ пологомъ, съ дешевыми цвѣтами на окнахъ. Въ комнатѣ ходитъ съ завязанными глазами бѣлокуренькій мальчикъ и, вытянувъ впередъ руки, старается поймать

двухъ человекъ, играющихъ съ нимъ въ жмурки: эти люди были сама Варя и ея старшій отецъ, отставная приказная крыса, чернильная душа. Вотъ мальчуганъ поймалъ отца Вари и, сдернувъ повязку, кричитъ:

— «Вамъ, вамъ завязывать глаза!»

— «Ну, довольно!» — смѣется чернильная душа, и въ ея словахъ слышится святое, нѣжное чувство любви. — «Измучили вы меня, старика. Играйте одни!»

Онъ улыбается и садится въ кресла, безконечная ласка свѣтится въ его лицѣ кажется, если бы ему сказали: «рѣшишь вытерпѣть страшную пытку, дай отрубить себѣ голову, и эти дѣти будутъ счастливы», то онъ съ улыбкой пошелъ бы на колесо, легъ бы на плаху и почувствовалъ бы, что только впервые въ жизни, въ эту минуту онъ узналъ, что значитъ блаженство. Чернильная душа! Приказная крыса!..

Варя и гимназистъ придумываютъ, какъ бы имъ поиграть вдвоемъ, берутъ карты и играютъ въ дурачки, а солнце свѣтитъ такъ ярко, такъ хорошо и обливаетъ комнату своими грѣющими лучами, рисуетъ прихотливые

узоры на полу... Варя улыбалась въ своемъ снѣ, Варя была счастлива...

Да благословить же Богъ жиденъкую, жалкую гувернантку за то, что въ чаду глубокихъ соображеній ей показалось нужнѣе всего въ данную минуту напечатлѣть поцѣлуй на лицѣ печальной дѣвочки, отходившей ко сну!

«Что-то дѣлаетъ теперь Ардальоша?» — думала Варя, проснувшись на другой день и смутно вспоминая сонъ. Ей очень хотѣлось идти съ горничной за вещами въ квартиру Игнатъевны, но она уже начала «соображать», разсудила, что это разсердить госпожу Скрипицыну, что откровенно высказанное желаніе навлечетъ упреки, гнѣвъ и наставленія, что лучше затаить его въ глубинѣ души и постараться сдѣлать веселое лицо, попробовать выказать ласку къ благодѣтельницѣ.

— Ты сегодня очень мила, — улыбнулась Скрипицына, когда Варя пришла поутру къ ней и цѣловала ея руку. — Я вижу, что мои наставленія не пропадутъ даромъ. Будь всегда такою скромною, признательною и откровенною.

Варя покраснѣла, и ей стало неловко, точно она согрѣшила, солгала передъ кѣмъ-то, впервые въ жизни была и неоткровенна, и непризнательна.

— Экая гордянка: и меня не приняла, и Варю не пустила ко мнѣ,- говорила вечеромъ того же дня Игнатъевна въ кругу своихъ подданныхъ, распивая кофейные переварки. — Убавилось бы ея, что ли, если бы она поговорила со мной.

— Ну, Богъ съ ней, — жалобно произнесла Акулина Елизаровна. — Слава Богу, что хоть Варю, сироту горемычную, призрѣла. Намъ-то и Богъ велѣлъ терпѣть униженія, недаромъ сказано въ писаніи: бражени кротци.

— Ахъ, друзья мои, она благородная! Вы не осуждайте ее. Ей съ вами нельзя говорить, — воскликнула маіорская дочь, и слышно было, что она скорбѣла о неблагородствѣ своихъ друзей.

— Что мнѣ въ ея благородствѣ! я сама себѣ благородная. Я своимъ потомъ хлѣбъ достаю, ночей не сплю, чтобы кусокъ хлѣба достать, подлаживаюсь ко всѣмъ, все переносу, чтобы не нажить враговъ. Мнѣ ваши благород-

ныя ни пенсій, ни вспомошествованій не даютъ, — жаловалась съ обычной желчью Игнатъевна на свою долю, должно-быть намекая на свой великій трудъ отдачи комнатъ, такъ какъ это была ея единственная дѣятельность.

— Ардальоша, ты хоть бы книжечку взялъ почитать, — назидательно пустила въ ходъ три нотки Акулина Елизаровна. — Какъ тебѣ не стыдно съ котенкомъ возиться? Порисоваль бы что-нибудь, вѣдь въ емназіи, чай, учать рисовать-то?

— Учатъ-съ, — печальнымъ шопотомъ отвѣтилъ Ардальонъ и, съ сожалѣніемъ оставивъ нитку, съ привязанною къ ней бумажкою, принялся раскладывать на столъ бумагу, рисунки и сталъ рисовать, прислушиваясь въ то же время къ разговорамъ, на которые до этой минуты онъ не обращалъ никакого вниманія.

Котенокъ потрепалъ его за штанишки, словно говоря: вѣдь тебѣ не хочется рисовать, брось это, Ардальоша, давай играть! — и, оскорбившись невнимательностью своего юнаго друга, пошелъ на середину комнаты и, поддразнивая упряма, сталъ одинъ подшвы-

ривать и ловить игривыми лапками комокъ бумаги.

А разговоры шли своимъ чередомъ.

— Благородная! — съ ироніей воскликнула Игнатъевна. — А небось съ французишкой шашничаютъ? Все въ него садить, по всѣмъ лавочкамъ задолжала, а передъ нами носъ поднимаетъ.

— Ахъ, душа моя, это коммеражи! — воскликнула маіорская дочь. — Вѣдь вы это отъ ея горничной слышали?

— Да, отъ Дашки слышала!

— Ну, можно ли вѣрить этому народу? И что намъ за дѣло, съ кѣмъ она живетъ? Нѣтъ, нѣтъ, вы не правы, она доброе дѣло сдѣлала.

— Ну, и оставайся ея добродѣтель при ней, а меня-то ей не слѣдъ было обижать. И съ Варей-то проститься не дала! Да я ей этого по гробъ не забуду, умирать буду, на духу покаюсь, что врага не прощаю. Вотъ вамъ и весь сказъ!

А Ардальонъ все слушалъ, и въ его бѣлокуренькой головкѣ бродили смутныя мысли о томъ, что вотъ бѣдныхъ и неблагородныхъ нельзя принимать богатымъ и благороднымъ, что вотъ и его мать, потому что

она бѣдная и неблагородная, валялась въ ногахъ у директора гимназія, когда Ардальону пришлось держать вступительный экзамень, и просила принять сына, и что хотя онъ выдержалъ экзамень не хуже другихъ, получилъ изо всего пятерки, а все-таки мать благодарила господина директора за то, что тотъ сожалелся надъ ними, надъ сиротами беззащитными. И онъ — Ардальонъ тоже кланялся, сознавая, что директоръ только по добротѣ своего сердца говорилъ ему:

— «Не надо, не надо благодарить! Я принимаю всѣхъ, кто оказываетъ удовлетворительныя познанія на испытаніяхъ».

И все яснѣе и яснѣе казалось Ардальону, что онъ недаромъ, по приказанію матери, кладетъ ежедневно земной поклонъ за благодѣтеля-начальника, сказавшаго ему разъ и навсегда:

— «Если ты будешь дурно учиться и вести себя, то тебя выгонять, а тебѣ не на что надѣяться: твоя мать бѣдна, необразована, ты погибнешь, тебя въ дворники не возьмутъ».

Задумчиво подошелъ Ардальонъ въ окну и, повидимому, безцѣльно началъ

смотрятъ на дворъ; быть-можетъ, въ эту минуту онъ думалъ угадать будущность обитателей большого дома, быть-можетъ, просто дышалъ молодою, но слабою грудью теплымъ майскимъ воздухомъ... Въ нѣсколькихъ окнахъ уже мелькали огни и, какъ въ китайскомъ фонарѣ, двигались огромныя, большеголовыя тѣни проходившихъ по комнатамъ людей; то тамъ, то тутъ высывались въ форточки разнообразныя лица, выставлялась за окна провизія. Въ спальнѣ госпожи Скрипицыной было отворено окно, блестя, не колеблясь, такъ тихо было въ воздухѣ, огонекъ свѣчи и озарялъ двѣ женскія головы: одну — съ осунувшимися чертами лица, другую — полненькую и молодую; молодая женщина, повидимому, читала вслухъ книгу...

На дворъ спорили и изощряли свое остроуміе мастеровые, дворникъ травилъ, отъ нечего дѣлать, собакъ, куча дѣтей играла въ бабки, между играющими Ардальонъ узналъ одного изъ своихъ товарищей по гимназіи, шла портного «Приснухина изъ Парижа», какъ значилось на вывѣскѣ этого честнаго ремесленника. «Мундиръ-то мара-

еть!» — подумалъ Ардальонъ про своего товарища и тихо началъ раздѣваться, услышавъ молящій и ноющій голосъ матери:

— Легъ бы ты спать, Ардальоша, — говорила она: — а то, спаси насъ Владычица Небесная, пожалуй, раннюю обѣдню проспимъ. Сними-ка сапожки, я ихъ вычищу.

— Да я самъ, маменька, вычищу ихъ.

— Э, голубчикъ, что тебѣ руки марать, да мозоли на нихъ натирать щеткой. Мое дѣло привычное, мнѣ некому рукъ показывать, а твоя жизнь впереди; Богъ знаетъ, кому придется руки жать.

Ардальонъ снялъ сапоги, легъ, но долго ему не спалось въ душной, низенькой комнаткѣ. Долго слышалъ онъ и крики мастеровыхъ, и лай собакъ, и громкій смѣхъ Порфирія Приснухина, и шарканье щетки по сапогамъ. Не вотъ все мало-по-малу начало стихать, только изрѣдка глухо дребезжали проѣзжавшія по улицѣ дрожки, раздавался легкой храпъ капитанши, долетало изъ другой комнаты сопѣнье Игнатьевны, смѣшанное съ какимъ-то не лишеннымъ сладости присвистомъ, да безостановочно сту-

чалъ громадный маятникъ широкихъ стѣнныхъ часовъ съ засиженнымъ мухами циферблатомъ. Въ комнатѣ вдругъ послышалось медленное шипѣнье, легкій трескъ и потомъ раздался первый глухой ударъ часовъ, за нимъ послѣдовали снова то же шипѣнье, тотъ же трескъ и ударъ... Часы пробили полночь; то-есть пробили безъ остановки двадцать семь разъ, но привычные люди знали, что это они только шалютъ по праву стариннаго знакомства, и догадывались о настоящемъ времени. Ардальонъ поднялся съ постели и на цыпочкахъ подошелъ къ окну. Небо было свѣтло, но на дворѣ было темно, какъ въ пропасти, всюду погасли огни и только въ спальнѣ Скрипицыной, страдавшей бессонницей, попрежнему теплился огонь свѣчи, и виднѣлись двѣ женскія головы.

— Варька все еще читаетъ! — произнесъ вслухъ Ардальонъ со вздохомъ и испугался, услышавъ движеніе и бредъ матери.

— Молись, молись! — шептала она во снѣ. Онъ поспѣшно легъ.

Рано подняла его мать на другой день. Приготовила ему чистое бѣлье, вычищенные

сапоги и верхнюю одежду, съ которой заботливо счистились всѣ пушинки и вся пыль. Когда ребенокъ одѣлся, мать намадила ему голову и, причесавъ его, перекрестила.

— Ступай впередъ въ церковь. Что тебѣ сомной со старухой-лохматницей идти, я въ уголочкѣ гдѣ-нибудь встану, чтобы меня не видали. Поди-ка, у васъ тамъ пересмѣшники емназисты, на зубки тебя подымутъ, что вотъ какая у тебя мать замухрышка, — говорила мать, провожая сына и глядя съ площадки лѣстницы, какъ онъ спускался внизъ.

Звучно лилось въ храмъ пѣніе пѣвчихъ, носились волны дыма, сверкая при утреннихъ лучахъ солнца, кружилась пыль, пахло ладаномъ и воскомъ, мигали свѣчи и какъ будто изъ недосягаемой дали тихо проносился старческой голосъ благословляющаго священника, и было что-то неизъяснимо поэтическое, какъ младенческой сонъ, во всей этой торжественной картинѣ. Полусонный ребенокъ то любовался съ упоеніемъ ею, то жарко молился, то уносился куда-то своей дѣтской фантазіей, какъ будто ее подняли за собою несущія вверхъ волны виміама. «Что-то я бу-

ду дѣлать теперь одинъ, безъ Вари? Опять рисовать? Нѣтъ, скучно! лучше я книжку почи- таю. Славныя есть книжки волшебныя! Вотъ гдѣ о феяхъ пишутъ», — думалось Ардальону. И точно, по возвращеніи домой, напившись кофею съ сдобной булочкой, онъ отрылъ у се- бя замасленную волшебную книжку, прита- щилъ къ окну старое, обтянутое черной ко- жею, кресло, подладилъ его такъ, чтобы на него падали солнечные лучи и, поджавъ подъ себя ноженки, угнѣзвился, какъ котенокъ, и сталъ читать, грѣясь на солнцѣ, разгораясь хорошенькимъ личикомъ и уносясь дале- ко-далеко отъ бѣдной, низенькой, проходной комнатки...

А мать погладила его по головкѣ, поцѣловала и, натянувъ на голову платчнш- ко, побѣжала мелкими шажками на рынокъ купить мучки, да яицъ, да разнаго другого снадобья, чтобы испечь прѣсныя пирожки для своего сынишки. Онъ читаль-читаль, на- конецъ, одолѣла его дремота и, горя яркимъ румянцемъ, съ улыбкой на лицѣ, онъ уснулъ, а во снѣ снились чудныя грѣзы: богатство, воздушные дворцы, безконечное яркое небо,

летающія въ горячемъ воздухѣ феи и, качаясь на сонной, залитой блескомъ рѣкѣ, пѣли русалки ему сладкую пѣсню...

Кому изъ насъ незнакомы эти волшебныя, разнѣживающія душу сновидѣнья? Развѣ какому-нибудь мравшему въ дѣтствѣ свой гимназическій мундиръ сорванцу Приснухи-ну —

Да, кстати, гдѣ онъ теперь?

Вонъ далеко на концѣ города, въ устьѣ Фонтанки, продирается онъ между барокъ на дрянной лодчонкѣ съ двумя шестнадцатилѣтними мастеровыми-халатниками изъ мастерской, своего отца. Фуражка натянута на затылокъ, крупныя капли пота струятся съ пылающаго лица, глаза блестятъ огнемъ силы и страсти, онъ снуетъ по лодкѣ, поднимаетъ протянутые по рѣкѣ канаты и веревки, отпихивается отъ барокъ, работаетъ багромъ.

— Эй вы, спутанные! — кричитъ онъ: — чего по рѣкѣ слюни-то распустили? Не можете къ сторонѣ причалить? Проѣзду нѣтъ! Черти, черти проклятые! Митрій, забирай правымъ-то весломъ. Вотъ такъ, молодецъ! Ну, те-

перь прихвати лѣвѣмъ... Фу, ты Господи, совсѣмъ умаялся! — говоритъ онъ, сядя на доску, играющую роль скамьи, и, отирая потъ обшлагомъ рукава, любуется, какъ быстро несется лодка, вырученная имъ на свободу. А вдали уже мелькаетъ зелень, островокъ. Еще нѣсколько минутъ — и передъ пловцами откроется широкое раздолье залива, а грязная Фонтанка и неутомонный, пьяный, ради праздника, городъ исчезнетъ вдали, закутанный своимъ дымомъ, опоясанный кладбищами.

— «Эхъ, если бы вѣтеръ разыгрался!» — говоритъ Порфирій, и искренно это его желаніе, и нѣтъ въ немъ страха, онъ дѣйствительно убѣжденъ, что борьба съ бурей чудное дѣло; ему кажется, что онъ могучій гигантъ, и въ эту минуту онъ любитъ болѣе всего картину, висящую въ магазинѣ его отца и изображающую Петра на Ладожскомъ озерѣ, усмиряющаго бурю.

Ему кажется, что онъ скорѣе бы утонулъ, чѣмъ рѣшился бы крикнуть: помогите! И то сказать: кто — если трезво глядѣть на міръ и на всѣ его глубокія соображенія — поможетъ

ему, Приснухину, когда онъ самъ не сможетъ спасти себя? Ему никто никогда не говорилъ о существованіи спасительницъ фей, а онъ, отъ тупоумной гордости, или отъ крайней лѣни, не успѣшили какимъ-нибудь чудомъ заявить ему о своемъ существованіи и такимъ образомъ навѣки потеряли одного изъ возможныхъ поклонниковъ. Бѣдныя, жалкія, глупыя феи!

III

Маленькая сестрица и бѣдный братишка

Въ то же воскресенье госпожа Скрипицына возвратилась съ Варей отъ поздней обѣдни и застала у себя обычныхъ праздничныхъ гостей: учителя-француза и своего восемнадцатилѣтняго брата-кадета, молодого челоуѣка съ ухарской прической и беззаботно-удалымъ выраженіемъ на недурненькомъ личикѣ съ вздернутымъ носикомъ, сильно развитыми ноздрями и полными, алыми губами. Этотъ достойный всякаго уваженія и потому любившій принимать признаки уваженія, молодой челоуѣкъ любилъ, не стѣсняясь присутствіемъ постороннихъ лицъ, напѣвать отрывки изъ арій и романсовъ, изъ которыхъ онъ отлично помнилъ первыя двѣ строчки и мотивъ. Онъ серьезно говорилъ, какъ и слѣдуетъ истинному таланту, что у него «прекрасный теноръ», и иногда высказывалъ сожалѣніе, что у него нѣтъ времени обработать свой «замѣчательный голосъ», и

вообще смотрѣль съ должнымъ презрѣніемъ на тѣхъ, кто не имѣлъ голоса или просто стѣснялся пѣть, не зная первыхъ строчекъ арій и романсовъ. Не менѣе прекрасно, и тоже не стѣняясь вкусами постороннихъ, умѣлъ молодой человѣкъ свистать и съ восторгомъ говорилъ, просвиставъ удачно какой-нибудь мотивъ, что онъ «отлично свищетъ». Въ эти минуты онъ былъ особенно привлекателенъ, потому что нѣкоторымъ образомъ находился въ положеніи вдохновеннаго свыше лица, размахивалъ руками и шагаль огромными шагами по комнатѣ, стуча каблуками, наступая на чужія ноги и задѣвая за мебель. По обыкновенію онъ не любилъ сидѣть, но лежалъ въ креслѣ, закинувъ назадъ голову, свѣсивъ въ стороны руки, протянувъ и расширивъ длинныя ноги, такъ что вся его фигура представляла человѣка, лежащаго на покатой доскѣ. Онъ находилъ эту позу граціозною и ловкою и почему-то называлъ ее «вызывающею». Если онъ не свисталъ, не напѣвалъ первыхъ строчекъ арій, не лежалъ въ креслѣ, то крошилъ ножницами попавшіяся ему вещи, или комкалъ ихъ

въ рукахъ, за неимѣніемъ ножницъ. Ъль аппетитно, по-кадетски, бралъ кушанья, не дожидаясь приглашенья, изъ любви къ лучшимъ кускамъ блюда; если ставилась на столъ коробка съ конфетами, то онъ спокойно ставилъ ее себѣ на колѣни или, лучше сказать, на грудь, такъ какъ это было удобнѣе въ его лежачемъ положеніи, и рылся въ конфетахъ, осматривалъ вертѣль каждую, иногда даже подносилъ къ носу, отыскивая самыя лучшія, подходившія къ его развитому вкусу, оставляя гостямъ довольствоваться тѣмъ, что не нравится ему. Это, впрочемъ, могло быть непріятно только тѣмъ, у кого былъ одинаковый съ нимъ вкусъ, но такъ какъ на вкусъ товарища нѣтъ, то подобное дѣйствіе и не могло быть непріятнымъ кому бы то ни было. Иногда онъ пряталъ нѣсколько конфетъ для друга, съ которымъ его звали неразлучной. Тотъ былъ хорошенькій мальчикъ, ходившій большею частью въ шинели, а не въ курточкѣ, хотя это и было запрещено въ корпусѣ. Но до него намъ нѣтъ дѣла. Госпожу Скрипичыну часто возмущало поведеніе брата, чего мы, при всемъ уваженіи къ ней, разумѣется,

не оправдываемъ, любя воинственную свободу и полное сознание своихъ достоинствъ въ воинахъ. Но Скрипицыной это было прости-тельно, она была такъ воспитана, выросла въ такомъ обществѣ и была въ тѣхъ лѣтахъ... Да, кстати, о лѣтахъ госпожи Скрипицыной.

Читательница, не приходите въ ужасъ, что, говоря о лѣтахъ женщины, я могу до-браться и до вашихъ лѣтъ. Вы молоды, я знаю навѣрное, что вы молоды; я васъ встрѣтилъ послѣ десятилѣтней разлуки на балу и былъ радъ, что на вашихъ щечкахъ цвѣтутъ по-прежнему розы, что у васъ роскошные локо-ны, падающіе на алебастровую шейку, что ва-ши бровки черны, узки и правильно очерче-ны. Этого съ меня довольно; подробнѣе узна-еть степень вашей молодости вашъ будущій супругъ на другой день вашей свадьбы...

Скрипицына же была въ той порѣ, когда всякая женщина перестаетъ прибавлять лѣта своей милой, дорогой подругѣ, а мужчины пе-рестаютъ справляться о нихъ. И такъ она, державшаяся прямо, говорившая плавно и медленно, изящно поправлявшая нарукави-чки и складочки платья, не смущавшая сво-

ей особой гостей даже въ гостиной графовъ Дикобразовыхъ, своихъ дальнихъ родственникововъ, она огорчалась воинственностью брата и называла его манеры «армейскими».

— Ты знаешь, мой другъ, — говорила она: — что именно за эти манеры у графовъ Дикобразовыхъ, нашихъ родственникововъ, не принимаютъ армейскихъ офицеровъ.

— Ну, вотъ еще выдумала. Графиня сама таскала свою дочь къ намъ на балы въ корпусъ, а тамъ не станетъ же наша братья для нихъ перемѣнять манеръ. «Пью за здравіе Мери», — вдохновенно пѣлъ братъ, качая во всѣ стороны головой.

— Могу тебя увѣрить, графиню ужасають эти манеры. Она повезла дочь на балъ, потому что тамъ былъ Жоржъ Гребецкій. Она хочетъ устроить эту партію, и онъ долженъ какъ можно чаще видѣть ея чудную, несравненную дочь. Ты долженъ вести себя прилично, отличаться тѣмъ аристократизмомъ, которыми отличались воѣ «ваши». Вспомни, что фамилія Скрипицыныхъ не изъ тѣхъ, которыя стоятъ въ переднихъ. Ты знаешь по исторіи судьбу нашихъ предковъ въ 1612 го-

ду. Да что я говорю! Довольно взглянуть на твои черты, на твои, ручонки и ноги, чтобы убѣдиться, что твой дѣдъ вышелъ не изъ курной избы.

— «Лобзай меня, твои лобзанья», — моталь головой братъ, выставляя свою хорошенькую, протянутую на середину комнаты, ногу.

— Я согласна, что твой голосъ рѣдкій алмазь, но онъ не обработанъ. Если бы у меня были средства...

— Кстати, сестра, что эти подлецы, мои мужики, не приносили оброка?

— Нѣтъ, мой другъ.

— По-міру, каналъи, ходятъ, чѣмъ бы на мѣста идти. Конечно, скоро ли по грошамъ соберешь оброкъ, да еще, я думаю, каждый день нализываются. «Что за ночь, за луна», — заливался братъ. — Итакъ, мой другъ, если бы у меня были средства, или если бы твои мужики работали, а не ходили по-міру, и платили бы большіе оброки, то мы взяли бы тебѣ учителя пѣнія, и ты, конечно, могъ бы пѣть даже у графа Дикобразова. Его же младшая дочь, которая еще не просватана, такъ любитъ пѣть дуэты. Но пѣть, ходя по комнатѣ, это не

принято.

— Ты, душа моя, ничего не понимаешь. Вы всѣ въ институтѣ привыкли быть нѣмыми, чопорными куклами, ходить на пружинахъ, se tenir droit и цѣловать подругъ въ блѣдныя, чахоточныя лица. Идеализмъ! Къ тому же ты позабыла, я думаю, какое дѣйствіе, производитъ мужской голосъ на женщинъ, онъ магически дѣйствуетъ на нихъ. «Обойми, поцѣлуй», — пѣлъ братъ и, вытянувшись еще прямѣе въ креслѣ и закинувъ еще выше свою умную головку, вспоминалъ, какъ его пѣніе очаровало одну изъ знакомыхъ ему дѣвицъ, жившихъ въ одной общей квартирѣ, куда привезъ его впервые, вышедшій въ полкъ товарищъ, и куда съ того дня, онъ ходилъ съ друзьями, по субботамъ. Но возвратимся къ разсказу.

— Отчего ты не съ вечера пришелъ? — спросила сестра у брата послѣ обычныхъ привѣтствій съ гостями, садясь за столъ, гдѣ былъ поставленъ кофе, и заботливо стала расправлять платье, и нарукавнички.

— Нельзя было. Мы съ товарищами въ гости ходили, — отвѣтилъ братъ.

— Къ кому?..

— Такъ... къ знакомымъ...

— Надѣюсь, что это порядочные люди, что ты не роняешь своего достоинства знакомствомъ съ ними?

— Вотъ еще выдумала! Знакомые, какъ знакомые!

— Хорошее общество у нихъ собирается?

— Всѣ, кто хочетъ, тотъ и идетъ...

— Весело провелъ время?

— О, у нихъ-то всегда весело! — плутовато засмѣялся братъ, подмигивая учителю-французу, которому онъ уже успѣлъ сообщить, кто такіе эти знакомые, и что дѣлаютъ тамъ мужчины.

— Что же вы тамъ дѣлали?

— Да все!

— То-есть, что же все?

— Да такъ все, что хочешь... Пѣли, танцовали... Странная ты, сестра, развѣ можно рассказывать все? «Когда легковѣренъ и молодъ я былъ».

— Отчего же нѣтъ?

— Ну, вотъ еще! «Младую гречанку...»

— Однако?

— Ты такая пуританка!.. «я страстно люблю...»

— Что съ тобою? Развѣ тамъ было что непозволительное?

— Ну, хоть бы и непозволительное, такъ что же? Это вѣдь все относительныя понятія. Что непозволительно для тебя, то можетъ быть позволительно для меня.

— Il est spirituel! — ввернулъ, весело улыбаясь, французъ, у котораго начинались судороги отъ скрываемой зѣвоты, онъ поминутно отиралъ навертывавшіяся отъ нея на глаза слезы.

— Но я боюсь за него, онъ такъ пылокъ!

— О, это ничего. Мы, французы, тоже чрезвычайно рано развиваемся, и потому насъ не пугаетъ раннее развитіе.

— Вы думаете, что оно не опасно?

— Нисколько.

Братъ, не говорившій, къ прискорбію сестры, по-французски, считалъ за лучшее, во время этого разговора, напѣвать восхитительную строчку изъ моднаго романса. Варя, между тѣмъ, напилась кофе, и госпожа Скрипичина обратилась въ ней:

— Ступай, дитя мое, вышивать мой воротничокъ. Только, пожалуйста, выполни аккуратно рисунокъ. Тамъ, помнишь, есть прорѣзь, ты будь осторожна, чтобы послѣ не сыпалось на этихъ мѣстахъ. И тамъ, гдѣ паутинки, дѣлай ихъ отчетливѣе. Каждое искусство требуетъ внимательности.

Варя вышла изъ комнаты, получивъ предварительно поцѣлуй въ щеку и поцѣловавъ протянутую ей руку.

— Что это за лѣнь наказуемая? — спросилъ братъ, удивляясь присутствію дѣвочки у сестры въ праздничный день.

— Нѣтъ, я ее взяла на воспитаніе.

— А! Прибавка барышей! — родственно обрадовался братъ счастьемъ сестры.

— Фи! Она нищая, у нея нѣтъ никого въ мірѣ, я ей замѣнила мать.

— Вотъ фантазія! Охота няньчиться!

— Нельзя же жить вѣчно для одной себя.

— Ты, кажется, рѣшительно хочешь закабалить себя. Няньчишься съ дѣвчонками въ будни, а теперь и въ праздники не будешь имѣть отдыха. Да это и стоитъ чего-нибудь, ты не такъ богата.

Братъ въ своей юной головкѣ тотчасъ же сообразилъ, что лишніе расходы сестры убавятъ его приходы, и разсердился на алчную дѣвчонку; навязавшуюся на шею его сестры. Такая разсчетливость насъ рѣшительно изумляетъ, потому что у него было молодое, то есть мягкое и доброе сердце, онъ, какъ всѣ запертые въ корпусъ кадеты, былъ щедрый молодой человекъ и каждую недѣлю давалъ своему другу часть своихъ карманныхъ денегъ, платилъ щедро каптенармусу за то, что тотъ выбиралъ ему лучшую одежду, прибавлялъ извозчикамъ, смѣясь, что они называли его графчикомъ и вашимъ сіятельствомъ; даже Даша знала его щедрость. Хотя за что бы ему платить хорошенькой Дашѣ? Не за то ли, что она смотрѣла, какъ чистила по субботамъ его сапоги и платьѣ старая, рябая кухарка, которой (нельзя же всѣмъ платить) не платилось ничего?

— Это нашъ святой долгъ, мой другъ, спасти ближнихъ.

— Mademoiselle такъ добра, — промолвилъ учитель: — что для нея величайшее счастье есть счастье ея ближнихъ.

— Не хвалите меня, я испорчусь, — сладко улыбнулась добрая Скрипицына и, опустивъ глаза, стала задумчиво помѣшивать ложкой въ чашкѣ. — Меня страшно беспокоитъ, — какъ бы про себя говорила она:— удастся ли мнѣ ее развить, внушить ей высокія понятія о призваніи женщины-христіанки. Она такъ очерствѣла, такъ испортилась въ этой грязной обстановкѣ среди необразованныхъ, грубыхъ людей, погруженныхъ въ мелочные матеріальные расчеты. Я опасуюсь, что у меня не хватитъ на это силъ, я такъ жарко прошу ихъ у Бога. Если бы у меня было краснорѣчіе графа Дикобразова, нашего великаго родственника, — о, тогда бы другое дѣло! Но я — я бѣдная, слабая женщина!

— Давай я буду тебѣ помогать! — воскликнулъ съ вѣтренымъ смѣхомъ братъ.

— Ты шутишь, Vasile, ты дитя и не понимаешь, что значитъ принять на себя эти обязанности.

— Такъ зачѣмъ же и братъ ихъ, если трудно исполнить?

Сестра съ сожалѣніемъ меланхолически пожала плечами.

— А наше нравственное развитіе? А наше образованіе? Развѣ они не принуждаютъ насъ въ исполненію извѣстныхъ обязанностей? Какой-нибудь грубый невѣжда, мужикъ, не считаетъ нужнымъ помогать ближнимъ, онъ спокоенъ, видя ихъ нужды; но мы, получая извѣстныя права и преимущества, получаемъ и извѣстныя обязанности. Трудъ страшный, но, разумѣется, мы не промѣняемъ его святыни на беззаботную, бессмысленную, животную жизнь неразвитаго мужика. Въ насъ не дремлетъ сознаніе своего человѣческаго достоинства и, ставъ однажды на верхнюю ступень лѣстницы, мы не сойдемъ въ пропасть грязи, грубости и эгоизма.

Госпожа Скрипицына, какъ видитъ читатель, любила и умѣла произносить рѣчи; это было слѣдствіемъ сознанія своего умственного и нравственного превосходства надъ окружающими. Это сознаніе не могло не навѣвать на нее грусти, проявлявшейся во всѣхъ ея рѣчахъ и очень понятной въ ея положеніи. Мои развитые и понимающіе свое развитіе читатели знаютъ это по себѣ. Тяжело стоять одиноко, на какой бы то ни было высотѣ!

Всякій богачъ, это извѣстно всѣмъ, обладая умственными или матеріальными, или другими сокровищами, терзается, зная, что этихъ богатствъ нѣтъ у его братьевъ-бѣдняковъ, терзается болѣе этихъ бѣдняковъ, потому что они даже и не понимаютъ, что значить быть богатымъ.

— Ты судишь, какъ англійская леди, — замѣтилъ братъ, по-кадетски называвшій въ своемъ кругу всѣхъ англичанокъ дохлыми.

— Вы правы только отчасти, — замѣтилъ учитель, не умѣвшій льстить по своей гордой французской натурѣ. — Въ вашей сестрѣ, при всемъ нравственномъ сходствѣ съ англичанками, есть еще то высокое качество, котораго нѣтъ у нихъ: она мягка, женственна, въ ней нѣтъ ихъ сухости и черствости.

— О, вы сегодня сговорились баловать меня. Вы сговорились, покуда были одни. Это награда за мою рѣшимость. И вѣрьте, друзья мои, эта награда нужна мнѣ, какъ поддержка, какъ одобреніе для слабаго путника въ трудной дорогѣ въ высокой цѣли.

Госпожа Скрипицына съ искреннимъ чувствомъ пожалала руки учителя и брата, хотя

послѣдній и удивлялся, почему его сестрѣ кажется комплиментомъ найденное въ ней сходство съ дохлыми англичанками, тощими, какъ щепки, и длинными, какъ жерди. Этотъ миленькій ребенокъ именно такими представлялъ себѣ англичанокъ. Его сестра вдругъ приняла веселое выраженіе лица, и минутное облако печали, налетѣвшее на нее, исчезло, какъ весеннія облака при лучахъ солнца. Ея еще юное сердце, лѣта котораго, по обыкновенію, не считаются никѣмъ, затрепетало подѣ корсетомъ отъ одобренія милыхъ друзей. Быстро пролетѣло время до обѣда. Скрипицына рассказывала объ институтѣ, о пріѣздѣ туда разныхъ знаменитостей, о поцѣлуѣ, данномъ ей тамъ княгинею Мухортовой-Таракановою, о кадрили, гдѣ Скрипицына танцевала съ княземъ Миловидовымъ и vis-à-vis съ своимъ кузенкомъ, графомъ Дикобразовымъ, бросавшимъ ревнивые взгляды на князя и едва не вызвавшимъ послѣдняго на дуэль за нее. Даже кусочекъ широкой орденской ленты, подаренный какою-то еще болѣе значительною особой, явился на сцену и удивилъ своимъ полинялымъ голубымъ

цвѣтомъ, походившимъ на загрязненное тучами осеннее небо, не дающее никакого понягїя о его лазури, ослѣплявшей глаза въ весенніе дни. Французъ-учитель толковалъ объ удовольствїяхъ Парижа, о нарядахъ и локонахъ дамъ изъ сень-жерменскаго предмѣстья, объ очаровательныхъ головкахъ юношей и, не мудрено, что его рассказы выходили и вѣрны, и картинны, такъ какъ онъ самъ держалъ гребенки, помаду и пудру во время того, какъ его патронъ-куаферъ убиралъ эти чудныя головки; даже одинъ изъ пальцевъ monsieur Davoust хранилъ до сихъ поръ слѣды обжога, полученнаго, по его словамъ, на дуэли за маркизу Рїо, а по словамъ исторїи — отъ куаферскихъ щипцовъ. Большой же палецъ правой руки учителя навѣки остался изогнутымъ наружу отъ долгаго ежедневнаго верченїя этихъ щипцовъ, когда они слишкомъ перекалялись. Василій Николаевичъ Скрипицынъ между пѣніемъ и свистомъ ввертывалъ тоже свое словцо о томъ, что «мы первые фрунтовики, что у насъ нѣтъ колпаковъ, то-есть дурныхъ фрунтовокъ, что экономъ у насъ воръ, а директорша отдаетъ чи-

нить на казенный счет свои сковороды, приказывая вносить плату за починку въ число расходовъ по ремонту лазаретныхъ принадлежностей, что гусарская форма самая лучшая, и что какой-нибудь штафирка не можетъ угоняться за гусаромъ, что гусаръ ему по носу надаетъ, что никакая барышня не устоитъ противъ гусара и каждая смѣется надъ рябчикомъ».

Но, любезный читатель, вы давно знаете, о чемъ говорить и будетъ говорить каждый изъ вашихъ милыхъ, добрыхъ, скучныхъ знакомыхъ... Не прерывайте, читательница, вашу милую, умную подругу Ольгу Петровну Черемухину, и она будетъ въ теченіе всего своего визита говорить о нарядахъ, ленточкахъ, кружевцахъ, воланцахъ, брошкахъ, сережкахъ и непременно — о, непременно! — припомнить ихъ фасонъ, того времени, когда «она жила въ Парижѣ», то-есть, пробывъ тамъ три недѣли, бѣжала отъ кредиторовъ. Объ этомъ вы могли бы прочесть въ иностранныхъ газетахъ, если бы изъ номеровъ, долетавшихъ до васъ, не исчезло, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, имен-

но это извѣстіе на горе для вашего маленькаго сердечка, обожающаго Ольгу Петровну. А Иванъ Ивановичъ Добронравинъ (тотъ самый, что нажилъ деревню изъ трехсотъ рублей жалованья), онъ будетъ въ теченіе всего вечера всѣмъ и всюду рассказывать о крестѣ, полученномъ недостойнымъ Чубуковымъ, будетъ до мельчайшихъ подробностей разбирать всю позорную дѣятельность Чубукова, его жены, дѣтей, родственниковъ, слугъ, крестьянъ и, все-таки, не успокоитъ своей желчи, почувствуетъ ея приливы и завтра, и послѣзавтра, и по необходимости будетъ ее изливать снова за вистомъ до тѣхъ поръ, пока самъ не получитъ креста. А опера? Княжнѣ Мери дѣлается дурно, если ей не дадутъ говорить объ оперѣ. Тамберликъ, Кальцоляри, арии, дуэты, парижская опера, петербургская опера, — о, восторгъ! — о, счастье! о, княжна Мери, какъ громадно великъ, какъ подавляющъ вашъ умъ! Моя кухарка тоже цѣлый день надоѣдаетъ мнѣ рассказами о дороговизнѣ говядины и злокачественности картофеля, она даже знаетъ, почему дорога говядина и въ пятнахъ картофель, — но, другъ мой, чѣмъ я

могу помочь тебѣ?

Итакъ, очертивъ характеры своихъ геро-евъ, я могу не передавать всѣхъ ихъ разгово-ровъ. Достаточно сказать; что Скрипицына и ея друзья любили другъ друга, и каждый изъ нихъ давалъ довольно много времени своему собесѣднику на разсужденья о любимомъ его предметѣ. Такимъ образомъ, наговорившись досыта, одинъ уступалъ слово другому, тотъ тоже договаривался до изнеможенія, вывер-тывать свой предметъ на изнанку и показы-валъ, что пришелъ чередъ третьему, за тре-тьимъ слѣдовалъ первый. Эта система взаим-ныхъ услугъ и одолженій знакома всѣмъ, кто хоть разъ былъ въ русскомъ обществѣ: оно очень скучно для посторонняго, но зато каж-дый членъ общества можетъ до совершен-ства объѣздить своего «конька». Да что же и дѣлать, не объ общественныхъ ли дѣлахъ раз-суждать? Этимъ витьемъ веревокъ изъ песку и себя не потѣшишь! Послѣ обѣда братъ от-правился въ ту комнату, гдѣ вышивала Варя, и сѣлъ противъ нея. Варя не пошевелинулась и продолжала вышивать. Кадетъ посмотрѣлъ на вышивку, посвисталъ, зѣвнулъ два раза,

наконецъ, взялъ ножницы и сталъ играть ими. «Не стану я съ нимъ говорить», — думала Варя. «А вѣдь ты первая заговоришь», — размышлялъ онъ. Долго длилось молчаніе, наконецъ, Варѣ понадобились ножницы. Она искала ихъ и, увидавъ, что онѣ въ рукахъ кадета, покраснѣла и устремила на нихъ глаза.

— Позвольте, — промолвила она почти шопотомъ.

— Что вамъ позволить?

— Ножницы дайте.

— Вотъ онѣ... Вы, кажется, годъ просидѣли бы молча, если бы онѣ не были вамъ нужны. Я думалъ, что вы нѣмая.

— О чемъ же говорить?

— Такъ неужели вы не можете найти предметовъ для разговора.

— Нѣтъ.

Воцарилось молчаніе. Варя, дѣйствительно, не умѣла разговаривать, она до сихъ поръ только играла, отвѣчала на вопросы и спрашивала, если ей что-нибудь было нужно.

«Ну, матушка, — подумалъ кадетъ:- ты по-

рядочная тупица!»

— Вы любите вышивать?

— Нѣтъ.

— Зачѣмъ же вы и въ праздники вышиваете?

— Mademoiselle вельла.

— Какое право имѣеть кто-нибудь вельтъ что-нибудь другому?

Варя не поняла вопроса и промолчала.

— Развѣ вы ея крѣпостная?

— Не знаю.

— Хо-хо-хо, — захохоталъ кадетскимъ смѣхомъ Скрипщынъ. — Какъ вы не знаете: крѣпостная вы или нѣтъ?

Варя опять промолчала, вполне доказывая этимъ свое крайнее тупоуміе.

— А вѣдь я на вашемъ мѣстѣ не пошелъ бы жить сюда. Здѣсь скука смертная! Я думаю, васъ все Шатобріашку заставляютъ вслухъ читать? У сестры бессонница. Дуракъ былъ этотъ Шатобріашка! Сама сестра его, кажется, какъ рыбій жиръ глотаетъ отъ золотухи.

— Развѣ у нея золотуха? — наивно спросила Варя.

— Хо-хо-хо! — залился кадетъ. —

Разумѣтся, золотуха! Это она и васъ согласи-
лась взять отъ золотухи, чтобы ей не такъ
тошно было. Она съ вами будетъ играть, какъ
дѣти съ котятами играютъ... А вы,
дѣйствительно, хорошенькій котенокъ. Вы ей
не поддавайтесь.

— Вамъ грѣхъ это говорить.

— Ого!

— Да, грѣхъ, и мнѣ грѣхъ! Mademoiselle моя
благодѣтельница, она сказала: я спасаю тебя
отъ гибели!

— Отъ какой?

Варя не отвѣтила.

— Ну, отъ чего же она васъ спасаетъ?

— Отъ битья, отъ голода...

— А кто ей сказалъ, что васъ стали бы
бить? что вы умерли бы съ голода?

— Она говорила, что простые люди всегда
бьютъ дѣтей.

— А вы жили у благородныхъ?

— Нѣтъ.

— Били васъ?

— Нѣтъ.

— Вотъ видите ли, какой вы глупости
повѣрили! Какое вы дитя. Она васъ ни отъ че-

го не спасла. Люди не умирають съ голода. Вы глупо сдѣлали, что просили ее взять васъ въ себѣ, вы думали, что она богата, глаза разгорѣлись, да въ расчетѣ ошиблись.

Послѣднія глубокія соображенія казались вполнѣ вѣрными миленькому ребенку-кадету, онъ не зналъ, что Варя еще слишкомъ глупа для подобныхъ расчетовъ, и все считалъ ее болѣе умною, чѣмъ она была на дѣлѣ.

— Я не просила.

— Вотъ это хорошо! Такъ, значитъ, она насильно взяла васъ къ себѣ? Молодецъ-сестра, даромъ крестьянъ пріобрѣтаетъ, пожалуй, цѣлую деревню для меня пріобрѣтетъ.

Варя съ удивленіемъ посмотрѣла на собесѣдника; какія-то новыя, до сихъ поръ неслыханныя ею соображенія высказывались имъ, но она ничего не могла вдругъ понять изъ нихъ, не могла сдѣлать выводовъ.

— Вотъ теперь и шейте ей воротнички, на-рукавнички, вяжите кошелечки, читайте Шатобріашку, а какъ она разорится, — вамъ и придется идти по-міру или въ горничныя дѣвки. Еще до пятнадцатаго года дожили, а этого не поняли. Вѣдь черезъ два годика вы

замужъ можете выйти, черезъ три, да еще и раньше, своихъ дѣтей можете имѣть. Иныя очень рано развиваются и могутъ рожать. Я зналъ...

Варя вспыхнула и вспомнила слова маіорской дочери, что о- такихъ вещахъ стыдно говорить, хотя сама и не понимала, почему стыдно.

— Ступайте прочь!

— Это зачѣмъ?

— Я не хочу съ вами говорить.

— Почему?

Отвѣта не послѣдовало.

— Или вамъ стыдно слушать о томъ, что у васъ дѣти будутъ? Полноте, черезъ годикъ сами объ этомъ будете шептаться съ подругами. Знаю я васъ. Я думаю, вы и теперь учителямъ записочки суετε, а по вечерамъ между собою...

— Уйдите!

— Чего вы волнуетесь, малютка? Давайте вашу лапенку и помиримся!

— Уйдите!

— Ну нѣтъ, вотъ на зло не уйду, чтобы вы не капризничали. Давайте руку.

— Не дамъ! — воскликнула упрямая Варя, и въ ея голосъ послышалась не нервная раздражительность слабаго существа, а злоба, лицо покрылось блѣдностью, глаза засверкали гнѣвомъ. Котенокъ обратился въ тигренка.

— Дашь! — крикнулъ кадетъ и подошелъ къ ней.

Она схватила съ пялецъ катушки и, швырнувъ ихъ въ лицо противника, убѣжала въ спальню. Пяльцы полетѣли на подъ.

Шумъ достигъ до ушей госпожи Скрипщиной. Она, какъ слышавшій драку адъютантовъ Отелло, съ гнѣвомъ явилась въ комнату и обратилась съ разспросами въ брату. Онъ чистосердечно признался, что Варя задремала за работой, уронила во снѣ пяльцы и, испугавшись ихъ паденія, убѣжала въ спальню. Позвали Варю.

— Какъ ты неосторожна! — оказала Скрипщица, разглядывая, не порвался ли воротничокъ. — Шумишь на весь домъ. Насъ трое, и мы не дѣлаемъ шума, насъ даже не слышно, а ты одна тревожишь всѣхъ. Эта угловатость манеръ неприлична, это свойство мужиковъ.

— Но развѣ я виновата, что...

— Пожалуйста, оставь привычку оправдываться. Я ее уже не разъ замѣчала въ тебѣ. Сознаніе своей вины, раскаяніе — лучшія оправданія. Въ женщинѣ должна быть покорность и покорность. Ты должна учиться принимать дѣльныя наставленія, должна дорожить ими. Время летитъ и, можетъ-быть, придетъ пора, когда я не въ силахъ буду подать тебѣ совѣтъ, протянуть руку помощи. Скрипицына впала въ элегическій тонъ.

— Но знаете ли вы, что...

— Все, все знаю и не браню тебя. Теперь шей и будь осторожна.

Варя нахмурила брови, взглянула исподлобья на наставницу и опустила голову; въ эту минуту было ясно, что она дурная, злая дѣвочка. Ея лицо было непріятно, въ ея глазахъ горѣлъ зловѣщій свѣтъ.

— Что, выслушали проповѣдь? — засмѣялся кадетъ по удаленіи сестры.

Ему не отвѣчали.

— Послушайте, не дуйтесь! Будемъ друзьями.

Варя молчала, кадетъ посвистывалъ.

— Ну, хотите, я вамъ что-нибудь почитаю?

Отвѣта не было. Кадетъ еще посвисталъ и побарабанилъ пальцами, что онъ дѣлалъ весьма ловко.

— Вѣдь это отвратительно быть такой упрямой! Вы знаете, кто упрямѣе всѣхъ? Осель!

Варя и тутъ выдержала свой характеръ.

— Сестра правду говоритъ, что вы неразвиты. Съ вами не стоитъ и говорить. Я хотѣлъ быть вашимъ другомъ, научить васъ, какъ должно поступать, чтобы быть независимой, свободной, а вы дуетесь, какъ глупая дѣвчонка. Прочли бы сказку о томъ, какъ баба не хотѣла сказать: слава Богу, мужъ лапотъ сплелъ. Тогда увидали бы, какъ нелѣпо упрямство. Оставайтесь же однѣ, я уйду

Въ комнатѣ только иголка щелкала по натянутому батисту.

— Прощайте, истуканчикъ!

Вечеромъ подали чай.

— Сестра, ты любишь истуканчиковъ? — спросилъ кадетъ.

— Какихъ истуканчиковъ?

— Вотъ такихъ съ кривыми ножками, съ глупенькими рыльцами, какимъ китайцы

МОЛЯТСЯ.

— Фи! о какихъ гадостяхъ ты говоришь.

— О гадостяхъ! А вотъ mademoiselle хочетъ сдѣлаться похожею на нихъ.

— Какъ такъ?

— Да, она хочетъ постоянно молчать, чтобы сдѣлаться похожею на нихъ. Я о чемъ ни говорилъ съ ней, она ни на что не отвѣчала.

— Она неразвита и не понимаетъ, что это невѣжливость. Нельзя же, мой другъ, все въ минуту сдѣлать, Богъ дастъ, отучится и отъ этого. У нея жесткій и черствый характеръ, она огрубѣла въ грубой средѣ.

— Ну, да ты сдѣлаешь его мягкимъ.

— Можетъ-быть. По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ хочется, чтобы онъ получилъ болѣе женственности.

Кадетъ сталъ собираться въ корпусъ.

— Дай, пожалуйста, мнѣ денегъ, сестра...

— Неужели ты въ недѣлю издержалъ пять рублей?

— Да вѣдь я же былъ вчера у...

— У кого?

— А, чортъ возьми! — смѣшался и разсердился братъ. — Ну, у кого бы ни былъ, но у ме-

ня денегъ нѣтъ!

Сестра покачала головой.

— Моя маленькая сестрица, кажется, жалѣетъ дать своему бѣдному братишкѣ на bonbons? Ну, такъ братишка и безъ нихъ обойдется, — проговорилъ кадетъ печальнымъ и замѣтно дрожавшимъ голосомъ и, поспѣшно, нервно простившись со всѣми, вышелъ изъ комнаты.

Госпожа Скрипицына вышла за нимъ въ переднюю.

— Ступай, сестра, я одинъ найду шинель, — слышался оттуда дрожащій голосъ.

— Полно, Basilie, полно! — говорила маленькая сестрица. — Перестань! Ты плачешь?

— Нѣтъ!.. Ничего... Говорю тебѣ, уйди, сестра!

— У тебя голосъ дрожить и руки тоже.

— Нѣтъ, нѣтъ, это такъ!.. Ахъ, уйди!.. Да что же это!.. Уйди! — говорилъ братъ, стараясь высвободить свои конвульсивно дрожавшія руки и скрыть трепетавшее въ истерическихъ судорогахъ лицо.

Бѣдный! ему такъ не хотѣлось огорчить сестру и показать нервную чувствительность

своей нѣжной натуры.

— Неправда, неправда, у тебя и глаза влажны. Я пошутила. Я не рассчитываю. Видитъ Богъ, я никогда не рассчитываю, я не жалѣю денегъ. Ну, перестань, поцѣлуй меня, прости!

— Сестра, сестра! — воскликнулъ бѣдный братишка и скрылъ на ея мягкой, какъ вата, груди свое взволнованное лицо. — Можетъ-быть, тебѣ теперь нужны деньги, у тебя теперь расходовъ болѣе?.. Ты добрая, великая женщина! Я понимаю это. Твой бѣдный братишка сумѣетъ тоже пожертвовать долею своихъ привычекъ... Онъ не эгоистъ... Онъ понимаетъ, что ты дѣлаешь добро...

— Ну, милый, милый мой, полно... Ахъ, онъ же мои руки цѣлуетъ! Я его оскорбила, а онъ же мои руки цѣлуетъ! Голубчикъ! Милый!

Госпожа Скрипицына дала бѣдному братишкѣ денегъ и проводила его до дверей передней.

— Чортъ возьми, какъ это все глупо! — ругался еще сильнѣе дрожавшимъ голосомъ бѣдный братишка. — Съ этими институтками безъ слезъ ничего не подѣлаешь. Кислятины

онъ этакія! Эй, извозчикъ! Только лицо все перемараль слезами. Хороши и слезы-то, — расхохотался онъ, вспомнивъ, изъ какого источника онъ нашлись.

А маленькая сестрица, въ свою очередь, тоже поспѣшила осторожно, не задѣвая румянца на щекахъ, отереть слезы и прошла въ спальню. Пробывъ тамъ нѣсколько минутъ, она возвратилась къ гостю-учителю. Глаза не были красны и даже почему-то одна рѣсница побѣлѣла, какъ будто на нее упалъ легкій иней. Я, впрочемъ, не думаю, чтобы въ спальнѣ Скрипицыной и притомъ въ лѣтнее время могъ быть даже легкій иней.

Въ одиннадцать часовъ, по уходѣ француза, госпожа Скрипицына пошла въ свою спальню въ сопровожденіи Вари и горничной. Варя должна была читать вслухъ французскую книгу, покуда не заснетъ наставница, такъ какъ для дѣвочки, не имѣвшей чистаго французскаго произношенія, такія чтенія должны были оказать громадную пользу, а госпожа Скрипицына, вѣрная принятымъ на себя обязанностямъ, заботилась о сиротѣ, какъ мать, все предвидѣла, все рассчитала.

— Вчера въ домъ у насъ опять исторіи случилась, всѣхъ жильцовъ всполошила, — говорила горничная, раздѣвая свою госпожу.

— Опять скандалъ какой-нибудь? — съ пренебреженіемъ замѣтила госпожа.

— Да еще какой! Кажется, какъ свѣтъ стоитъ, такъ такого не бывало. Портняжка, что у насъ въ домъ живетъ, пьянъ напился по обыкновенію, ну, и сталъ жену бить, ей ужъ это не въ диво...

— Дай мнѣ другой чепчикъ, съ кружевами, знаешь, — сказала Скрипицына, конечно, насколько не обрацавшая вниманія на болтовню горничной, какъ на болтовню попугая.

— Извольте, сударыня... Вотъ сталъ онъ ее бить, а она въ слезы. «Лучше бы, говорить, мнѣ помереть, чѣмъ съ тобою жить! Заступиться, говорить, за меня некому». А на эту пору и вернись ихъ сынишка со двора. «Что ты, говорить, отецъ, мать-то колотишь? Натрескался»...

— Какія у тебя выраженія пошлыя, Даша!

— Право-съ, такъ и сказалъ: «Самъ, говорить, натрескался, а мать своими боками отдувайся! И безъ того она тщедушная, на ла-

данъ дышитъ, а ты ее еще заколачиваешь. Ложись! говорить, не то я тебѣ руки свяжу». «Какъ ты смѣешь такъ съ отцомъ разговаривать? — говорить портняжка. — Да я тебя въ бараній рогъ согну, убью, пасченокъ!»

— Помилуй, Даша, ты забываешься!

— Извините, сударыня!.. «Убью, говорить, тебя!» «Ну, это еще старуха на-двое сказала», — говорить сынъ. Отецъ на него замахнулся, а онъ, какъ взялъ его за обѣ руки, скрестилъ ихъ, да такъ его, раба Божія, и положилъ на кровать. «Лежи, говорить, пока не отрезвишься, не то къ кровати привяжу». И вѣдь, говорятъ, до трехъ часовъ ночи это онъ просидѣлъ на отцовской кровати и продержалъ его руки. Такъ тотъ и уснулъ. Ну, сегодня проспался, въ ногахъ у жены валяется, благодѣтельницаей ее своею называетъ, у сына прощенья просить. Тотъ уѣхалъ на цѣлый день на лодкѣ кататься... Вотъ разбойникъ-то растеть, ужъ не уйти ему отъ висѣлицы, помяните мое слово.

— Пожалуйста, не передавай мнѣ этой грязи. Что мнѣ за дѣло до этихъ исторій? Ступай!

— Прикажете этотъ чепчикъ спрятать?

— Нѣтъ, онъ на мнѣ неловко сидитъ, мнѣ его не надо.

— Такъ неужели же бросить такой миленькій чепецъ?

— Возьми себѣ, если онъ такъ хорошъ.

— Ахъ, Господи, благодарствуйте! Вотъ ужъ не ожидала. Недаромъ у меня бѣленькое пятнышко на ногтѣ всю недѣлю было. А я-то думала: ну, ужъ обманеть, не откуда подарка получить.

— Какъ ты наивна! Ты еще вѣришь этимъ дѣтскимъ примѣтамъ!

— Ахъ, сударыня, да какъ же имъ не вѣрить? вотъ и теперь вышла правда. Впрочемъ, у васъ и примѣтъ никому не нужно, вы всѣмъ мать родная, только всѣ ли это цѣнить-то будутъ, — вздохнула Даша, совершенно случайно взглянувъ на Варю.

— Ты добрая дѣвушка, Даша! — сообразила Скрипицына. — Прощай!

— Покойной ночи, пріятнаго сна!

Варя начала читать, смутно понимая содержаніе перваго читаемаго ею романа. Это былъ не Шатобрианъ, а Поль-де-Кокъ, лежавшій не въ гостиной, а въ спальнѣ.

— Читай, дитя мое, не такъ громко. Вообще приучайся говорить и читать, не торопясь и не возвышая голоса. Въ обществѣ это не принято. Вообрази, если бы сошлось двадцать человѣкъ въ комнатѣ, и всѣ начали бы говорить скоро и громко — изъ этого вышла бы жидовская школа, базаръ. Это нервы раздражаетъ.

Подъ тихое чтеніе Вари нервы госпожи Скрипицыной не раздражались, но успокоились, и она уснула сладкимъ сномъ ребенка или чистаго, безгрѣшнаго существа, какимъ она была, какъ видитъ читатель, на самомъ дѣлѣ, а Варя, увидавъ, что слушательница уснула, опустила книгу на колѣни и впервые серьезно задумалась о своемъ положеніи. Она, что ясно видно изъ разсказа, была, повидимому, тупоумна и принадлежала къ разряду тѣхъ дѣтей, которыхъ съ негодованіемъ назвалъ мнѣ генераль Воиновъ мерзавцами и негодными, дрянными вѣтряными мельницами. «Вы заступаетесь въ своемъ Шуповѣ, — грозно внушалъ онъ мнѣ, — за эту дрянъ, вертящуюся въ ту сторону, куда дуетъ вѣтеръ. Ваши любимые герои, попавъ въ среду разбой-

никовъ, не думаютъ вести благонамѣренную жизнь, а готовы сами сдѣлаться разбойниками. Заступаться за такихъ лицъ, милостивый государь, безнравственно, вы кладете этимъ, милостивый государь, пятно на себя.» Я согласился съ мнѣніемъ генерала Воинова и возненавидѣлъ бы эту вѣтряную мельницу, Варю, если бы наблюдателю-романисту было позволено ненавидѣть и преслѣдовать кого бы то ни было (хоть бы даже самихъ васъ, генераль Воиновъ) въ своихъ романахъ. Въ головѣ этой вѣтряной мельницы, Вари, роились весьма непохвальныя мысли. Она не чувствовала умиленія, глядя на свою спящую благодѣтельница, не чувствовала благоговѣнія къ ея бѣдному братишкѣ за его попытку развить сироту, не чувствовала занимательности разсказа горничной и романа Поль-де-Кока и уносила мысленно въ грязную квартиру необразованной, иногда попахивавшей водкою Игнатьевны, не ощущая ни малѣйшаго отвращенія къ грязи и необразованности и ни малѣйшей привязанности къ блеску и благовоспитанности. Вставъ со стула, она приподняла свѣчу такъ, что лучи упа-

ли на лицо спавшей женщины и озарили его вполне. Румянецъ на лѣвой щекѣ этого существа, лежавшаго во время чтенія на лѣвомъ, боку, и черная полоска на мѣстѣ лѣвой брови исчезли безъ всякаго слѣда и остался румянецъ и черная бровь только на правой сторонѣ, что, при содѣйствіи жиденькихъ волосъ, заплетенныхъ въ тощія косички, при остромъ носѣ, придавало дѣйствительно довольно потѣшный и оригинальный видъ госпожѣ Скрипицыной: дѣвочка съ непріятной насмѣшливостью улыбнулась и пошла изъ комнаты. Въ ея лицѣ было что-то ядовитое и вмѣстѣ съ тѣмъ неудержимо-веселое, торжествующее. Она мелькомъ взглянула на себя въ зеркало, впервые улыбнулась своему юному личику и легла спать. Черезъ полчаса къ ней подошла возвратившаяся отъ родныхъ жиденькая гувернантка и напечатлѣла третій поцѣлуй на ея щеку.

«Очень мнѣ нужны твои поцѣлуи!» съ пренебреженіемъ подумала еще не спавшая Варя, и, вспомнивъ, что ея подруги зовутъ жиденькую гувернантку «медовой сосулькой», раздражительно отерла щеку.

Варя, Варя, то ли ты думала три дня тому назадъ? Знала ли теперь ты, что ты надолго, можетъ-быть, навсегда, по своей волѣ прогоняешь отъ себя свои свѣтлые сны?

IV

Жизнь Вари и ея Трезора въ школѣ большого дома

Варѣ, какъ дѣвочкѣ неразвитой и уже освоившейся съ будничною жизнью въ жилищѣ необразованной Игнатъевны, было неловко въ болѣе изящномъ и праздничномъ домѣ благодѣтельницы. Ее подавлялъ братъ Скрипицыной своею благородною воинственностью и взглядомъ на всѣхъ окружающихъ, какъ на осажденныхъ или покоренныхъ враговъ. Конечно, воинственность болѣе пригодна въ военную пору, но она требуетъ, какъ и всѣ другія качества, постоянной практики и въ мирное время, такъ какъ иначе война можетъ застать врасплохъ неосмотрительнаго воина. Значить, братъ Скрипицыной былъ правъ въ своемъ поведеніи. Варю подавляла госпожа Скрипицына своимъ высокимъ, сопряженнымъ съ горечью развитіемъ, своимъ сознаниемъ собственнаго превосходства надъ окружающими, своими кроткими, но, тѣмъ не менѣе, длинными и подавляющими

рѣчами, своими воспоминаніями о Дикобра-
зовыхъ и пожатыхъ во время институтскихъ
баловъ лаврахъ. Варю подавляла бойкая Да-
ша своею смѣтливостью, говорливостью, сво-
ею способностью извиваться мелкимъ
бѣсомъ, дѣлать тонкіе, но колкіе намеки на
«неблагодарность нѣкоторыхъ людей», своею
манерой говорить: «Всѣ ли будутъ цѣнить ва-
съ, сударыня?» — и въ это время случайно
бросать взглядъ на Варю, какъ будто Варя по-
хожа на отогрѣваемую за пазухой змѣю. Варю
подавляли ея подруги, глядѣвшія свысока и
имѣвшія полное право такъ глядѣть на даро-
вую ученицу, могущую ради выслуги сплет-
ничать на нихъ, хотя еще и удерживавшуюся
отъ сплетень. Подавляли ее рѣзные перла-
мутровые ножички, могущіе хрустнуть въ
рукъ при разрѣзываніи книгъ; подавляли
книги въ богатыхъ переплетахъ, падавшія
иногда на полъ и мавшіяся во время паденія;
кушетки, столы, ковры, стѣны, все, все подав-
ляло Варю, все блестяло, сверкало и даже
грязный, ничѣмъ, кромѣ своей наглости, не
блестѣвшій мясникъ, ворвавшійся однажды
въ комнату Скрипицыной, стучавшій грязны-

ми сапожищами, сморкавшійся въ запачканный кровью передникъ и требовавшій уплаты долга, — даже этотъ мясникъ подавилъ Варю, взглянувъ на нее злобными глазами. Варя почему-то вдругъ поняла изъ этого взгляда, что и онъ, и лавочникъ, и дворникъ, и вся улица, и весь городъ знаютъ, что она живетъ даромъ у Скрипицыной, что, можетъ-быть, изъ-за нея Скрипицына не можетъ свести концовъ съ концами и все больше и больше входить въ долги, — и Варю, эту глупую, бездушную, вѣтряную мельницу, стали подавлять всѣ встрѣчные...

Случалось ли вамъ, читатель, въ дѣтствѣ, послѣ того, какъ ваша добрая мамаша, разсерженная неудачно сшитымъ платьемъ, очень, очень неудачно сшитымъ, потрепала васъ за ухо и сказала, что она пожалуется на васъ вашему доброму папашѣ, а добрый папаша, возвратившійся изъ должности, сердитый на своего писаря, услышалъ эту угрозу и, не требуя никакихъ объясненій, не дѣлая никакихъ справокъ, пребольно высѣкъ васъ, — случилось ли вамъ послѣ подобной исторіи дать сильный пинокъ ногою вашему любимому

Трезору, всегда лизавшему ваши руки, как-тавшему васъ на своей лоснистой спинѣ? Помните, какъ Трезоръ поджималъ хвостъ, цѣлый день былъ грустенъ, и съ особенною нѣжностью лизалъ ваши руки, съ особенною осторожностью каталъ васъ, когда вы снова подзывали его въ себѣ? И послѣ каждаго подобнаго случая Трезоръ становился все нѣжнѣе и нѣжнѣе, дошелъ, наконецъ, до той нѣжности, что вздрагивалъ и прислушивался къ каждому шороху во время вашего сна, а тебя, другъ, мой, Тоня, даже спасъ изъ омута твой вѣрный Трезоръ. Кстати, Тоня, гдѣ онъ находятся съ тѣхъ поръ, какъ-ты по расчету женился на перезрѣлой дѣвѣ, чаще цѣлующей свою слезливую Контеску, чѣмъ тебя? Не твоего ли Трезора, голоднаго, обкусаннаго другими собаками, протащили на-дняхъ фурманщики?..

У Вари, подавленной всѣми, не было Трезора, но у нея была жиденъкая гувернантка, и Варя сдѣлала ее своимъ Трезоромъ...

— Подите вы со своими конфетами! Меня при гостяхъ разбранили, попрекнули, какъ нищую, а вы съ конфетами суетесь! Очень

мнѣ онѣ нужны! — давала Варя свой пинокъ вѣрному Трезору, и Трезоръ грустно отходилъ прочь, вздыхалъ и зорко слѣдилъ за всѣми поступками Вари, ловилъ, какъ сбѣгали одна за другою тѣни злобы съ молодого лица, и, привѣтствуя сильнымъ біеніемъ сердца первый лучъ свѣта въ дѣтскихъ выглядывавшихъ исподлобья глазенкахъ, ждалъ, что вотъ-вотъ подойдетъ Варя и, шутя, спросить у своего Трезора:

— А что, конфеты-то вы кому-нибудь другому отдали?

— Нѣтъ, голубчикъ, нѣтъ! Вотъ онѣ,- слышался отвѣтъ.

Какъ сильно, сильно билось въ эти минуты сердце Варинаго Трезора!

Есть особый разрядъ людей, способныхъ безкорыстно, — впрочемъ, тутъ о корысти не можетъ-быть и рѣчи, — сдѣлаться чьими-нибудь Трезорами. Это существа бѣдныя, некрасивыя собою, одинокія; они столько терпѣли, не встрѣчая ни въ комъ любви, что имъ стало больно ненавидѣть кого бы то ни-было; первая вспышка ненависти потухаетъ въ нихъ при мысли, что, можетъ-быть, и этотъ,

вызывающей ненависть, человекъ сдѣлался такимъ дурнымъ вслѣдствіе недостатка любви въ ближнихъ, и ненависть смѣняется въ Трезорахъ жалостью, «дурной» человекъ получаетъ у нихъ названіе «несчастливаго» человека. Рѣзкихъ сужденій вы отъ нихъ не услышите; они, пожалуй, разойдутся съ дурными людьми, но обвинять будутъ все-таки только себя за свою черствость, за неумѣнье прощать. Не знаю, нужны ли это для жизни, умные ли это люди, но я самъ не разъ состоялъ въ должности Тревога при иномъ дрянномъ созданиці, и потому могу сказать одно то, что это грустная роль и много нужно: любить и перестрадать, чтобы дойти до нея. Ольга Васильевна, «жиденская гувернантка» или, еще проще, «медовая сосулька», долго напрасливалась на роль чьего-нибудь Тревога. Сначала она привязалась къ Скрипицыной, «сочувствуя горечи ея рѣчей», но ей почему-то не; понравились. отношенія Скрипицыной къ учителю-французу, а Скрипицыной показались неприличною дружба съ гувернанткою, получавшей отъ нея жалованье. отношенія сдѣлались холодными. Потомъ Ольга Васи-

льевна пробовала каждое воскресенье приводить дѣтямъ гостинца и «ласкать самыхъ слабыхъ и самыхъ бѣдныхъ» воспитанницъ пансіона, но одна бѣдная воспитанница украла у нея брошку, другая слабая воспитанница пришилила ей къ платью билетъ съ позорною надписью, третья назвала ее медовою сосулькою, и пансіонъ утвердилъ кличку. Вслѣдствіе этого прозвища Ольга Васильевна выслушала замѣчаніе Скрипицыной:

— Что это такое? — воскликнула, по-французски, Скрипицына. — Какъ васъ называютъ?

— Развѣ это моя вина? — оправдывалась тоже по-французски Ольга Васильевна.

— Ну, а если Дикобразовъ или кто-нибудь другой изъ моихъ родныхъ пріѣдетъ и увидитъ это слово на доскѣ — что онъ скажетъ? Вы подумайте, что онъ скажетъ! — произнесла Скрипицына, забывъ, что ея родственники не посѣщаютъ ея школы.

— Но развѣ это я выдумала? — вздохнула Ольга Васильевна.

— Чтобы я этого не слыхала больше! — рѣшила Скрипицына.

Ольга Васильевна расплакалась, и съ этого дня ей было болѣе прилично названіе «пансіонской тряпки», чѣмъ медовой сосульки, такъ какъ ею помыкали всѣ, и она давала дѣтямъ конфеты, чтобы они не дразнили ее, не писали ея прозвища на доскахъ. Всѣ продолжали шумѣть, когда она появлялась въ классъ. Если какая-нибудь работа была невѣрно сдѣлана, то всѣ говорили, что такъ велѣла сдѣлать Ольга Васильевна, и Скрипицына, чтобы показать дѣтямъ свою строгую и честную справедливость, дѣлала при нихъ же выговоръ гувернанткѣ. Послѣ одного изъ подобныхъ выговоровъ Ольга Васильевна собрала свои вещи и хотѣла тайкомъ уѣхать отъ Скрипицыной, желая избѣжать ссоры. Послѣднее слово для Ольги Васильевны было такъ же страшно, какъ слово «жупель» для одной изъ героинь Островскаго. Она готова была десять верстъ пѣшкомъ пройти, по городу босикомъ пробѣжать, только бы спастись отъ ссоры. Она нерѣдко оставляла мѣста, не получивъ жалованья, и радовалась, что сумѣла-таки схитрить, избѣжать ссоры, не заикнувшись о деньгахъ. Теперь она радова-

лась, пробираясь изъ спальни съ чемоданчикомъ, чтобы передать его потихоньку дворнику, но вдругъ ее поразилъ голосъ;

— Что это вы? — спросила Скрипицына, явившись въ спальню совершенно случайно, такъ какъ сборы гувернантки были подсмотрѣны только Дашею.

— Иду къ... въ классъ, — пробормотала Ольга Васильевна.

— Съ чемоданомъ? — изумилась Скрипицына.

Ольга Васильевна покраснѣла до волосъ, провела въ воздухѣ рукою и проговорила:

— Это... это я въ разсѣянности!..

— Помилуйте, какой примѣръ подаете вы дѣтямъ, мой другъ? По разсѣянности идете съ чемоданомъ въ классъ! Хорошо еще, что я васъ остановила, душа моя. Вы и безъ того такъ мало внушили къ себѣ уваженія, а тутъ еще чемоданъ! Да вамъ бы проходу не было отъ насмѣшекъ!

«Сейчасъ поссоримся!» — ужаснулась Ольга Васильевна, чувствуя, что ее до глубины души оскорбили и возмутили слова содержательницы пансіона, что у нея самой готово

вырваться рѣзкое слово упрека, и прошептала:

— Благодарю васъ!

— Помилуйте, я васъ такъ люблю! Вы знаете, какъ забочусь о васъ, какъ я стараюсь внушить дѣтямъ любовь къ вамъ. Я хочу помощницу вамъ взять, облегчить вашъ трудъ... Видитъ Богъ, что я не виновата, если дѣти болѣе уважаютъ меня. Вы слабы, мой другъ, съ ними, вы не имѣете этой, этой dignité, которая нужна въ наставницѣ. Но все же я васъ люблю... Вы, можетъ-быть, сердитесь, что я не могла отдать вамъ жало...

— Ради Бога, ради Бога, не думайте этого! — воскликнула Ольга Васильевна.

— Доброе созданье! — трогательнымъ тономъ произнесла Скрипицына.

Она была очень мягка въ послѣднее время вообще и особенно въ этотъ день.

«Не поссорились!» — обрадовалась Ольга Васильевна и заплакала отъ радости, горячо благодаря Скрипицыну и сознавая, что Скрипицына могла бы поссориться съ нею, выгнать ее, конечно, заплативъ ей за годъ жалованье. Но что значать эти деньги передъ ужа-

сомъ ссоры? И стала ли бы ласкать ее изъ-за нихъ прямодушная Скрипицына? Это событіе случилось какъ разъ въ тотъ день, когда въ домъ Скрипицыной поступила на житье Варя. Трауръ, печаль, беззащитность, сиротство были достаточными причинами для того, чтобы Ольга Васильевна сдѣлалась Варинымъ Трезоромъ. Мы видѣли, что Варя не очень гналась за поцѣлуями Ольги Васильевны, но Ольгу Васильевну ставало не на одни поцѣлуи. Въ сороковой день послѣ смерти своего отца Варя захотѣла посѣтить его могилу.

— Помилуй, не одной же тебѣ идти туда, — сказала Скрипицына. — Ты можешь помолиться за душу отца въ любой церкви.

— Я попрошу Дашу сходить со мной на кладбище, — сказала Варя.

— Нѣтъ, барышня, мнѣ некогда-съ, — отвѣтила Даша.

— Я свезу ее туда, — вмѣшалась Ольга Васильевна.

— Для чего? Это прихоть. Ей погулять хочется, а не молиться. Молиться она можетъ вездѣ,- замѣтила разсудительная наставница.

— Но вѣдь и вамъ дорога могила вашего отца, — чрезвычайно просто и кротко произнесла Ольга Васильевна.

Скрипицына посмотрѣла на нее удивленными глазами и какъ-то разсѣянно промолвила:

— Поѣзжайте... я не держу васъ...

Даша стала что-то рассказывать своей госпожѣ, когда уѣхали Варя и Ольга Васильевна, но госпожа выслала ее вонъ и долго, долго ощипывала какіе-то листочки съ цвѣтовъ; въ ея головѣ вертѣлись, Богъ знаетъ почему, слова жиденъкой гувернантки... «Дорога могила отца», — шептала она, въ раздумьи качая головой...

На кладбищѣ Варя встрѣтила всѣхъ своихъ старыхъ знакомыхъ и очень обрадовалась имъ. Ей какъ-то легко дышалось въ этотъ день.

— Давно, давно, моя голубка, мы тебя не видали, — говорила Игнатъевна, цѣлуя Варю. — Хоть бы глазкомъ взглянуть на тебя хотѣлось.

Варя вздохнула.

— А я тебя каждую ночь видѣлъ, — шеп-

нулъ ей Ардальонъ.

— Во снѣ? — тоже шопотомъ спросила Варя.

— Нѣтъ, я каждый вечеръ ждалъ, когда ты пройдешь со свѣчой по комнатѣ книжку читать мадамъ,- едва слышно произнесъ онъ и покраснѣлъ до ушей.

Варя задумчиво посмотрѣла на могилу отца и снова о чемъ-то вздохнула.

— Это новое платье на тебѣ? — освѣдомилась Акулина Елизаровна. — Поди-ка, по сороку копеекъ за аршинъ плочено, за барежъ-то?

— Ахъ, нѣтъ! — воскликнула маіорская донь. — Это барежъ-крепе, шестьдесятъ копеекъ аршинъ стоитъ, никакъ не меньше!

— Ну, что бы тамъ ни стоилъ, а ужъ я ей по гробъ не прощу, что она тебя къ намъ не пускаетъ, — сказала злопамятная Игнатьевна.

— Ахъ, она благодѣтельницаетъ! — раздалось восклицаніе маіорской дочери.

— Пошли ей Господь здоровья! — умилилась Акулина Елизаровна. — Вотъ она тебя выучитъ всему, жениха тебѣ богатаго найдеть...

Варя молчала и, кажется, не слышала глубокихъ соображеній бѣдныхъ женщинъ. Начались толки о быломъ житьѣ-бытьѣ, о Семенѣ Мартыновичѣ, о дороговизнѣ говядины, о смертности человѣка, о попѣ, долго неидущемъ служить панихиду; наконецъ, пришелъ и онъ, пропѣлъ вѣчную память, всѣ заплакали и пошли. Одинъ Ардальонъ безучастно смотрѣлъ на все и слушалъ толки. Онъ тихонько дернулъ Варю за платье, когда всѣ пошли съ могилы, и остановилъ ее на этомъ мѣстѣ.

— Ты, Варька, ни за кого не выходи, — проговорилъ онъ и потупилъ глаза.

— Что?

— Ты, говорю я, — ни за кого замужъ не выходи, потому что я женюсь на тебѣ.

Въ дѣтскомъ голосѣ Ардальона было столько застѣнчивой любви и мягкой грусти, что Варѣ вдругъ вспомнилось все, все прошедшее, всѣ игры съ отцомъ и Ардальономъ, всѣ долгіе вечера, за чтеніемъ волшебныхъ сказокъ съ заключенными царевнами, всѣ ласки, давно невѣдомыя ей. Изъ ея глазъ впервые въ этотъ день хлынули горькія, неудержимыя

слезы, она припала къ землѣ. Ардадьонъ наклонился, на лету поцѣловаль ея въ щеку и хотѣль бѣжеть, испугавшись своей смѣлости, но Варя торопливо схватила его за рукавъ, притянула къ себѣ. и съ быстротой молніи нѣсколько разъ крѣпко поцѣловала его испуганное личико. Ея глазенки блестѣли какою-то отвагою и силой.

— Вонъ наша парочка идетъ, — сказала Игнатъевна своимъ спутницамъ, встревоженнымъ по случаю отсутствія дѣтой. — Женихъ съ невѣстой.

— Ну, мой Ардальоша бѣденъ, ему богатую нужно, — сообразила Акулина Елизаровна;

— И Варя не пойдетъ за бѣднаго; съ ея образованіемъ можно сдѣлать блестящую партію, — вступился Трезоръ за Варю.

— Ахъ, нѣтъ, они оба благородные, они могутъ обвинчаться только по страсти! — прекратила маіорская дочь первую стычку Акулины Елизаровны съ Ольгой Васильевной.

Эти двѣ кроткія, простыя женщины не могли предвидѣть будущаго, какъ не предвидитъ его и читатель, повидимому, умѣющій сообразить все, что можетъ произойти въ русской

жизни и въ русскомъ романѣ. И слава Богу, что будущее было неизвѣстно, иначе оно ужаснуло бы бѣдныхъ женщинъ и заставило бы ихъ съ ненавистью отшатнуться другъ отъ друга, для читателя же романъ потерялъ бы половину своего интереса.

Возвратившись домой, Ольга Васильевна обѣщала Варѣ ѣхать съ нею на кладбище въ день, когда совершится полугодіе смерти Семена Мартыновича, и Варя стала мечтать объ этомъ днѣ, какъ о предстоящемъ великомъ праздникѣ... Въ привязанности къ ней необразованныхъ обитательницъ ленныхъ владѣній Игнатъевны было для ребенка что-то неизъяснимо отрадное. Эта мечта о свиданіи съ бѣдными женщинами занимала Варю долго; выѣзды съ Скрипицыной въ театры и на парадные визиты только на время заставляли дѣвочку забыть свою любимую мечту, но они не заставляли ее ни на минуту забыть о томъ, что въ одно изъ оконъ ленныхъ владѣній каждый вечеръ смотритъ на нее Ардальонъ, и она почти всегда, проходя по комнатѣ дружески кивала ему головой, хотя и не могла видѣть, стоитъ ли онъ у окна или нѣтъ.

Въ этомъ дружескомъ ежедневномъ поклонѣ невидимому другу было нѣчто поэтическое, граціозное, какъ граціозна дѣтская любовь. И если невидимое существо обладало чуткимъ, понимающимъ сердцемъ, то оно могло каждый день по поклону, по жесту Вари угадать ея настроеніе. Настроеніе угадывалось, невидимое существо очень часто бывало озабочено, убѣдясь, что Варя провела тотъ или другой день дурно. Объ этихъ тревогахъ, за неимѣніемъ другихъ повѣренныхъ, оно передавало своему товарищу Порфирію Приснухину.

— Варьку сегодня разобидѣли, — грустно качало головой невидимое существо.

— А ты почему знаешь? — спрашивалъ Порфирій.

— Она плакала, когда мы видѣлись съ ней сегодня, — отвѣчало невидимое существо.

— Погань должна быть эта Скрипицына! — выражалъ на своемъ подворотномъ жаргонѣ Приснухинъ.

— Можетъ-быть и не она обидѣла Варьку, а кто-нибудь другой. Она благодѣтельница! — сомнѣвалось доброе

невидимое существо, напоминая своимъ голосомъ Акулину Елизаровну.

— Гляди ей въ зубы-то! Благодарѣтельница! Она вонъ ее вмѣсто холопки держитъ, заставляетъ книжки себѣ читать, уроки у дѣтей спрашивать, въ комнатахъ прибирать...

— Тебѣ кто это сказалъ?

— Даша косолапая говорила.

— Ты развѣ съ нею знакомъ?

— Давно она около меня подхалимничаетъ, — съ пренебреженіемъ отозвался шестнадцатилѣтній Порфирій. — «Я вамъ, говоритъ, Порфирій Александровичъ, если не побрезгуете, манишечку подарю». А на кой чортъ мнѣ ея манишечки? Нищій я, что ли?

— Она тебя любитъ вѣрно, — съ участіемъ рѣшило невидимое существо.

— Вотъ какъ молоко на губахъ обсохнетъ, тогда и будемъ объ любви толковать.

— А вотъ, я люблю Варю, — грустно сказало невидимое существо.

— Это не то! Ты, братъ, ни въ чемъ ни уха, ни рыла не смыслишь! — рѣшилъ Порфирій и махнулъ какъ-то безнадежно рукою.

Порфирій Приснухинъ былъ правъ относи-

тельно занятой Вари въ домъ Скрипицыной. Мы видимъ, что на второй же день послѣ своего поступленія въ этотъ домъ Варя заняла при благодѣтельницѣ мѣсто чтицы. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, на нее возложили долю обязанностей по дѣлу убиранія классныхъ комнатъ и стиранія пыли съ бездѣлушекъ въ кабинетъ содержательницы школы. Прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ и Варѣ поручили спрашивать уроки у ученицъ меньшаго класса и смотрѣть за порядкомъ.

— Ты должна, дитя мое, приучаться къ труду, — говорила добрая Скрипицына. — Теперь, твой трудъ — игра, ты не утомляешься, не трудишься изъ-за куска хлѣба, не заботишься о необходимыхъ для жизни вещахъ, у тебя все есть въ избыткѣ; но, играя въ трудъ, если можно такъ выразиться, ты все же привыкаешь къ нему, втягиваешься въ него. И въ этомъ-то я вижу громадную пользу для тебя.

Варя цѣловала руку наставницы и — хитрая, неблагодарная дѣвочка — думала: «Господи, скоро ли она уснетъ сегодня! Мнѣ еще нужно чернила разлить въ классныя чернильницы для завтрашняго дня».

— Вонъ наша горничная пришла, — шептались, между тѣмъ, дѣвочки при входѣ Варя въ классъ.

— Крылова, здѣсь пыль не сметена! — кричали ей болѣе смѣлая.

— Сметите ее сами, если не сметена, — отвѣчала Варя и блѣднѣла.

— Мы не горничныя!

— И я не горничная.

— Ты обязана смотрѣть за порядкомъ, тебя для этого держать здѣсь, — отвѣчали дѣвочки въ чаду глубокихъ соображеній.

Варя спокойно подходила къ доскѣ и еще спокойнѣе записывала на нее фамиліи досаждавшихъ ей подругъ. Въ ея спокойствіи было что-то роковое: такъ, стиснувъ зубы, старается быть спокойнымъ челоуѣкъ, переносящій мучительную операцію.

— Что это ты насъ записываешь? — кричали подруги.

— Я должна за порядкомъ смотрѣть, меня для этого держать здѣсь, — сухо отвѣчала Варя, и только въ ея глазенкахъ сверкала злоба.

— А, ты думаешь, что насъ накажутъ изъ-за тебя? Такъ нѣтъ же, не накажутъ! Горнич-

ная, горничная! — кричали возмутившіяся подруги, видя, къ чему привели высказанныя ими глубокія соображенія насчетъ обязанностей Вари.

Варя, безмолвная, какъ статуя, сидѣла у доски и ждала, когда скрипнетъ дверь, и войдетъ учитель. Дверь отворялась, учитель входилъ, и начиналось разбирательство. Иногда Варя, пристыженная и униженная, должна была собственноручно стирать съ доски имена, записанныя ею.

— Что взяла? что взяла? — шептали ей подруги. — Дрянъ, туда же хочеть, чтобы изъ-за нея наказывали! Фискалка!

Въ одинъ изъ такихъ дней въ классъ вошелъ учитель-французъ. Его обожалъ весь старшій классъ... Видѣли ли вы когда-нибудь этихъ милыхъ, завитыхъ, припомаженныхъ учительшекъ, которые радуются, что ихъ «обожаютъ» ученицы! Это преинтересные субъекты. Они изысканно одѣваются, даже часто, шьютъ себѣ платье въ долгъ у Шармера, они нѣжно и элегантно обходятся съ воспитанницами, любезно благодарятъ послѣднихъ, когда тѣ ставятъ имъ на каѳедру

лимонадъ или подсовываютъ богато переплетенные учебники, въ листки которыхъ вложены страстные записочки. Эти учительши не краснѣютъ, когда при появленіи ихъ раздается: «Душка Жадовъ!» «Мимишка Купидоновъ!» «Киска Телушкинъ!» или звучатъ другія, еще болѣе глупыя, прозвища. Они ничего и никогда не сдѣлаютъ, чтобы прекратить этотъ публичный скандалъ и показать ученицамъ, что они сошлись здѣсь не для романтическаго развратца, а для болѣе великихъ цѣлей. Кончаютъ они тѣмъ, что раздражатъ свою дрянную натуришку до крайности, увлекутъ какую-нибудь изъ выпускныхъ ученицъ за предѣлы романтизма, женятся на ней и на другой день послѣ свадьбы слышатъ, какъ остальные обитательницы пансіона кричатъ вслѣдъ имъ: «Бяшка Жадовъ!» «Фишка Купидоновъ!» «Мовешка Телушкинъ!» Этихъ дрянныхъ, хотя и типичныхъ созданийъ безчисленное множество, отъ этихъ личностей отворачиваемся не только мы, но отворачиваются отъ нихъ даже ихъ обожательницы, какъ только удастся этимъ обожательницамъ выйти на свѣтъ Божій. Скажите

любой матери семейства при ея дѣтяхъ, что она когда-то, закатывая подъ лобъ глазки, называла Купидонова «киской» и «бляшкой» — и она покраснѣетъ отъ стыда до ушей... А Купидоновъ? Э, да его и теперь еще зовутъ «бляшкой!..» Къ разряду такихъ людей принадлежалъ и monsieur Davoust. Его обожали всѣ, начиная съ Скрипицыной, не умѣвшей во всю свою жизнь оторваться отъ старыхъ привычекъ.

— Monsieur Davoust, Крылова насъ напрасно записала, — кричали въ описываемый день учителю его обожательницы. — Она не за порядкомъ смотритъ, а только сплетничаетъ!

Даву съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на Варю и сказалъ ей:

— Сотрите съ доски, что вы тамъ намарали.

— Потрудитесь ихъ наказать, — твердо отвѣтила Варя.

— Вы меня учить хотите? — насмѣшливо спросилъ отставной куаферъ. — Дѣлайте то, что вамъ приказываютъ.

Варя стерла съ доски имена виновныхъ.

Дѣвочки торжествовали и посмѣивались.

— Вотъ такъ-то лучше, — сказалъ Даву. — Теперь ступайте на мѣсто. Варя пошла.

— Куда же вы идете? Я вамъ велѣлъ на ваше мѣсто сѣсть, — сказалъ Даву.

— Я иду къ mademoiselle, — отвѣтила Варя дрожащимъ отъ злобы голосомъ.

— Ябедничать хочеть, — слышались голоса.

— Оставайтесь здѣсь, — произнесъ Даву.

— Мнѣ нужно отдать ей это письмо, — сказала Варя и показала изъ кармана клочокъ какого-то письма.

Даву вспыхнулъ и вскочилъ со стула.

— Подайте сюда эту бумажку! — крикнулъ онъ.

Варя разсмѣялась злымъ и неприятнымъ смѣхомъ и взялась за ручку двери.

— Какъ вы смѣете чужія письма брать? Вы знаете, что это шпіонство, подлость, за такіе поступки плохо расправляются съ людьми, — удержалъ Варю за руку учитель.

— Я ничего не знаю. Но mademoiselle имѣеть право читать все, что приносятъ съ собой ученицы въ классъ, и она велѣла мнѣ

смотримъ за порядкомъ. Я это и дѣлаю, — отвѣтила Варя.

— Что же вы хотите этимъ сдѣлать? — спросилъ Даву.

— Я хочу, чтобы онѣ, — Варя указала на провинившихся подругъ: — простояли весь классъ на колѣняхъ.

Даву исполнилъ желаніе Вари. Дѣвочки не хотѣли повиноваться; произошла довольно живая сцена. Варя усмѣхалась, слыша плачь и угрозы ученицъ. Даву проповѣдывалъ ей, какъ не хороша ея мстительность, какъ мало въ ней женственности, но она была совершенно спокойна, точно ея сердце было совсѣмъ испорчено жизнью. Вечеромъ, съ раскраснѣвшимся отъ злобы и волненія личикомъ, она передавала подробности этой исторіи Ольгѣ Васильевнѣ.

— Варя, Варя, зачѣмъ ты такая злая! — прервала ее кроткимъ голосомъ Ольга Васильевна.

Варя вдругъ задрожала и разрыдалась.

— О чемъ это, дитя мое, милая моя? — испугалась Ольга Васильевна, не ожидавшая такого перехода отъ торжества къ слезамъ.

— Если бы вы были въ классѣ, я не сдѣлала бы этого. — всхлипывала Варя. — А онъ и онѣ сами такіе гадкіе...

Ольга Васильевна взяла обѣими руками голову Вари и поцѣловала ее въ лобъ.

— При васъ я добрая... Вы меня и бранить можете... Я васъ слушаюсь, — рыдала Варя на груди своего Трезора. — А они злые, они дурные, они не смѣютъ меня учить... Я на зло имъ буду злою... Я лучше ихъ!..

Ольга Васильевна растерялась отъ изумленія. Она вполнѣ сознавала, что Варя лучше всѣхъ людей въ мірѣ, она была готова трубить объ этомъ всему городу, даже присягнуть въ этомъ, но будь она сама на мѣстѣ Вари, то ей никогда бы не пришло и на мысль сказать про себя, что она лучше кого-нибудь. Варя же сказала это про себя и въ этой-то чертѣ характера впервые высказалось ясно, что изъ Вари выйдетъ не второй экземпляръ Ольги Васильевны, а нѣчто совершенно другое, новое. Не будь этой черты въ характерѣ Вари, узнавшей въ дѣтствѣ, что и ее могутъ любить и цѣнить близкіе люди, и она, можетъ-быть, сама сдѣлалась бы жиденъкою гу-

вернанткою, медовою сосулькою и никогда ничѣмъ не изумила бы своего Трезора, никогда не разошлась бы съ нимъ. Долго думала Ольга Васильевна о послѣднихъ словахъ Вари, о томъ, что дурные не могутъ учить хорошихъ, и что хорошіе, на зло дурнымъ, могутъ поступать дурно.

— Да развѣ есть дурные люди? всѣ они такіе несчастные, — разсуждала Ольга Васильевна. — Но, можетъ-быть, я сама нехорошая, оттого я такъ и думаю. Можно ли слѣдуетъ ли Варѣ слушаться меня? И что я могу ей посовѣтовать? Я такая глупая. Варя, одна только Варя умѣетъ обращать мои глупыя слова въ умныя, потому что она сама умная и добрая. Отчего же ей и не сознаваться, что она лучше другихъ? А я еще хотѣла ее побранить за это! Вотъ глупая-то, глупая я!

V

Комедія жизни, по обыкновеніе, оканчивается драмою смерти

Тяжело возиться съ дѣтьми! Это мы всѣ знаемъ не только по слухамъ, но и по опыту, такъ какъ каждый изъ насъ, по добротѣ своей души, или воспитывалъ какого-нибудь приемыша-бѣдняка, употребляя его на посылки, или былъ опекуномъ богатыхъ сиротъ, забывая изъ любви къ нимъ свой домъ, свою жену и своихъ дѣтей, или, несмотря на то, что его считали въ дѣтствѣ ни на что неспособнымъ и тупымъ, развивалъ чужихъ ребятъ въ качествѣ домашняго учителя. Честные, безупречные люди, мы если и погибали когда-нибудь нравственно, то погибали не за свои ошибки, не за свои дурныя наклонности, нѣтъ! ихъ не было въ нашихъ чистыхъ сердцахъ, но гибли мы ради дѣтей, въ чемъ и признавались, когда насъ ловили на взяткѣ или въ воровствѣ. — «Семья, дѣти, ваше превосходительство!» лепетали мы заплетающимся

языкомъ въ эти роковыя минуты. Но даже если кто-нибудь не былъ ни въ одномъ изъ этихъ положеній, то ужъ, конечно, рѣдкій изъ насъ могъ безъ стѣсненія въ сердцѣ глядѣть на шалости брошенныхъ родителями безъ присмотра ребяташекъ, и хотя мимоходомъ, а замѣчалъ имъ: «У-у! срамъ какой плакать, вотъ тебя бука съѣстъ!» или: «Зачѣмъ вы воробушка мучаете, вотъ васъ Богъ камешкомъ убьетъ!» или просто принималъ на себя роль судьи и разнималъ дерущихся дѣтей, освобождая тщедушнаго ребенка и давая подзатыльники здоровымъ ребятамъ, — такъ какъ тщедушность, за неимѣніемъ другихъ данныхъ, служитъ всегда признакомъ правоты, — и, довольный своимъ добрымъ дѣломъ, возвращался импровизированный судья домой съ длиннымъ рассказомъ о томъ, какъ онъ спасъ отъ негодяевъ бѣднаго «малютку», и какъ эти негодяи бѣжали за нимъ — судьею — по улицѣ, дразнили его и показывали ему языки. — «Ахъ, дѣти, дѣти, бѣда съ вами», съ горечью заключалъ рассказчикъ повѣсть о своемъ подвигѣ, вспоминая послѣднія событія, то-есть высунутые языки,

ознаменовавшіе этотъ подвигъ... Да, господа, мы люди добрые, очень добрые, мы любимъ дѣтей, только о нихъ и думаемъ, и потому тяжело намъ жить на этомъ свѣтѣ, и, глядя на все совершающееся вокругъ, невольно приходишь къ мысли, что жизнь съ каждымъ днемъ становится труднѣе и труднѣе для добрыхъ людей, посвятившихъ себя всецѣло дѣтямъ, тогда какъ дѣти все болѣе и болѣе отбиваются теперь отъ рукъ и даже опекаемые богатые сироты рѣшаются иногда клеветать на своихъ опекуновъ! Скверныя времена! тяжелыя времена!

Не легко жилось и госпожѣ Скрипицыной. То дѣти реверансы плохо дѣлали, то выказывали неприличныя манеры, дурныя склонности, рисуя портретъ наставницы съ усами, то, наконецъ, приходилось страдать, слушая выговоры ихъ глупыхъ родителей, не воспитывавшихся, должно-быть, нигдѣ.

— Что это вы, мадамъ, мою-то дѣвчонку арихметикъ не учите, сосчитать сдачи съ рубля не умѣеть, — говорила толстая купчиха госпожѣ Скрипицыной, являясь съ платой за ученье. Дѣло было въ горячее время, передъ

экзаменомъ. — Вы ужъ лучше не заставляйте ее вышивать, ей не бѣлошвейкой быть. А безъ арихметики какая же она будетъ мужу жена?

— Помилуйте, какъ же я могу не учить вышивать, когда всѣ вышиваютъ въ классѣ? — отвѣтила Скрипицына.

— Ну, а она пусть въ арихметикѣ учить...

— Это невозможно, на все свое время.

— Нѣтъ, ужъ это что же!

— Я васъ увѣряю.

— Что меня увѣрять-то! Это вы вотъ, что она простого купца дочь, говорите. А то почему бы не время? — Мой хозяинъ подарковъ не можетъ дарить, нешто сахарцу голову...

— Мнѣ не нужно подарковъ.

— Нѣтъ, ужъ это что! Кому не нужно подарковъ! Небось другія-то и пишутъ лучше, а у нашей-то ничего и не разберешь, словно мухи, прости Господи, бумагу засидѣли.

— У нея почеркъ порядочный, женщины не пишутъ крупно.

— Ну, ужъ я неграмотный человекъ, надомной можно смѣяться; по мнѣ можетъ и впрямь для бабъ другая грамота, а про нее и

отецъ говорить, что у нея ничего не разберешь. Ужь знали бы это, такъ и учить не стоило бы, даромъ деньги платили. Та же безграмотная, царапать перомъ-то я, пожалуй, нацарапаю. А еще хвалились, что у васъ не такая дрянъ школа, какъ у Митрофанихи; необразованной ту называли, а въ ея-то школѣ дочь нашего молодца нашу-то Машутку во всѣхъ статьяхъ обогнала.

— Зачѣмъ же вы не отдадите и вашу дочь къ madame Mitrofanoff, если тамъ хорошо? — холодно замѣтила Скрипицына.

— Да что же намъ по-сорочьи съ мѣста на мѣсто скакать, это ужъ не резонъ; отдали, а потомъ, нако-съ, и бери опять!

— Вѣрно вы и сами поняли, что у madame Mitrofanoff дѣтей развращаютъ, что въ ея школѣ нравственность не развиваютъ, что оттуда можетъ выйти горничная, и то дурная, а не благовоспитанное дитя.

— Ну, да, а вы послушали бы, что Митрофаниха-то про васъ поетъ! Я ужъ было и испугалась, каюсь, подумала: гласъ народа, гласъ Божій! Можетъ, это все и правда, что вы-то живете съ...

— Ради Бога, не передавайте мнѣ сплетенъ этой отвратительной женщины! — воскликнула съ ужасомъ госпожа Скрипицына, чувствуя стѣсненіе въ груди. Она глубоко страдала въ эту минуту. — Вы меня извините, отъ этихъ рассказовъ у меня спазмы, я не могу... Я не такъ воспитана... Охъ, что же это!.. Боже мой, за что Ты меня испытываешь? — изъ глазъ бѣдной женщины брызнули слезы, пальцы ея руки, лежавшей на столѣ, судорожно дрожали.

Купчиха испугалась не на шутку.

— Охъ, я окаянная! Ужъ вы простите меня, старую дуру! Не даромъ мой-то мнѣ говорить: ну, ты воды не удержишь? Не хотѣла, видить Богъ, не хотѣла васъ избидѣть, мадамъ, вы ужъ меня простите! на Машуткѣ-то не вымещайте.

— Я васъ не держу, извините, мнѣ нужно отдохнуть... Все это... Отдохнуть мнѣ нужно...

— Отдохните, отдохните, авось пройдетъ... Это у меня тоже случаемъ бываетъ, какъ мой-то воевода хмельнымъ придетъ, ну, у меня и въ глазахъ замутится... Отдохните. Только ужъ Машутку-то не обижайте, ребенокъ что?

не виновать въ нашей глупости!

Другой визитъ окончился печальнѣе. Какая-то нарядная чиновница, выбивающаяся на дорогу благосостоянія, негодовала на Скрипицыну за то, что въ школѣ дурно кормятъ пансіонерокъ.

— Я думала, что у васъ такіе родственники, — говорила она язвительнымъ тономъ, точно каждое ея слово должно было пронзить и проколоть Скрипицыну. — Я думала, что вы хоть въ ихъ домахъ привыкли, какъ надобно обращаться съ благородными дѣтьми. А вы? Вы чѣмъ кормите, дѣтей?

Скрипицына искала въ своемъ умѣ оправданія; она сама знала, что столъ сталъ дурнымъ въ послѣднее время, и страдала отъ этого болѣе всѣхъ окружающихъ.

— Нѣтъ, вы мнѣ скажите, чѣмъ вы кормите дѣтей? — язвила чиновница, видя смущеніе содержательницы школы. — Этимъ кормятъ дѣтей у вашихъ родственниковъ?

— Ахъ, Боже мой!..

— Нѣтъ, нѣтъ, вы мнѣ основательно отвѣтьте, этимъ ли кормятъ дѣтей у вашихъ родственниковъ?.. А я вамъ вотъ что скажу:

надо или школу содержать, или покровительствовать бѣднымъ учителямъ-иностранцамъ, что-нибудь одно, что-нибудь одно...

— Послушайте! — воскликнула Скрипицына.

— Нѣтъ-съ, не буду и слушать, и не говорить! Если я и начала говорить съ вами, такъ только для того, чтобы дать вамъ почувствовать, что благородные люди понимаютъ васъ, насквозь понимаютъ. У-у, какъ! сощурила чиновница глаза и ткнула указательнымъ пальцемъ въ воздухъ. — А то бы я и не стала говорить съ вами; я не говорю съ «такими» женщинами!

Скрипицына вскочила, послѣдняя фраза поразила ее.

— Вонъ! — крикнула она, не владея собою.

— Пойдите! — воскликнула чиновница. — Я за тѣмъ и пришла, чтобы сказать вамъ, что никогда, никогда нога моя не будетъ въ вашемъ домѣ. Не вы выгоняете изъ него, а люди сами бѣгутъ отъ васъ... Да я, да я всѣмъ расскажу, всѣхъ объгаю! — не выдержала чиновница благороднаго, но колкаго тона и обличила свои неблагородныя стремленія

«обѣгать всѣхъ» съ разказами объ «исторіи».

Но этимъ не кончилось; этимъ только, такъ сказать, началась суть романа Скрипицыной. Чиновница взяла изъ школы свою дочь и, должно-быть, «обѣгала» многихъ, потому что за ея дочерью начали убывать и другія ученицы. Большой домъ, а за нимъ и другіе дома, и весь кварталъ начали бить въ набатъ о дѣлахъ Скрипицыной. Одни говорили, что у нея худо учать, другіе, что у нея худо кормятъ, третьи, что она развратничаетъ. Добрые граждане предостерегали другъ друга отъ опасности, и даже самые страшные враги теперь самоотверженно забыли свои личные дразги, стараясь помогать другъ другу въ распространеніи слуховъ. Добрая сторона человѣческой природы взяла верхъ надъ злой. Болѣе всѣхъ другихъ отличались въ успѣшномъ распространеніи слуховъ сестры Скрипицыной по профессіи. Madame Mitrofanoff клялась, что Скрипицына близка не только съ учителемъ французомъ, но и увлекаетъ другого учителя, что французъ узналъ объ этомъ и вышла сцена такая, такая сцена, что «ахъ и не говорите!» Mademoiselle

Petroff съ grimасой объясняла, что Скрипицына едва ли можетъ учить дѣтей, что она была и въ институтѣ послѣднею ученицею, въ томъ самомъ институтѣ, откуда сама mademoiselle Petroff вышла первою, что, конечно, можетъ-быть, Скрипицына послѣ училась, но это едва ли правда, такъ какъ mademoiselle Petroff видѣла сама своими глазами одно изъ писемъ Скрипицыной, «съ двадцатью ошибками, съ двадцатью, можете себѣ представить!» Madame Glanz и mademoiselle Rondeau говорили еще болѣе, и особенно опасна была mademoiselle Rondeau, которая ровно ничего не говорила, а только со вздохомъ восклицала на всѣ разспросы о Скрипицыной: «Богъ съ ней! мнѣ только страшно за ея воспитанницъ! Бѣдныя, бѣдныя дѣти!» Родители этихъ воспитанницъ приходили въ ужасъ и чувствовали, какъ морозъ пробѣгалъ по ихъ кожѣ. Всѣ поименованныя мною женщины держали школы, тоже хотѣли приносить пользу отечественному просвѣщенію, какъ же имъ было не говорить дурного про Скрипицыну? Это все въ порядкѣ вещей и отъ этого-то всякое дѣло у насъ и

идеть такъ успѣшно впередъ, дѣлаетъ изумительные успѣхи при помощи братьевъ по профессіи!..

Съ убылью ученицъ убывали и средства Скрипицыной. Ея школа, какъ и всѣ наши частныя школы, была открыта для хлѣба, и запасныхъ денегъ не было; въ нее, тоже какъ во всѣ русскія школы, сначала хлынуло много народу, вѣчно поддающагося золотымъ надеждамъ; теперь эти надежды были обмануты, народная волна бѣжала прочь, и корабль становился на мель. Пришлось отказать нѣсколькимъ учителямъ, послѣдней школьной приманкѣ; пришлось не платить остальнымъ двумъ и забирать все, что можно, въ долгъ.

— Лавочники, сударыня, ужъ очень насъ одолѣли, — говорила Даша госпожѣ, прибирая въ комнатѣ. — Скоро ли вы, говорятъ, долги-то отдадите. Нахлѣбницъ разныхъ, сиротъ неблагодарныхъ держите, а въ лавки не платите...

— Ахъ, Даша, я всѣмъ заплачу, — произнесла Скрипицына, пропуская безъ замѣчанія намекъ на Варю.

— Знаю, барышня, только очень ужь ругаются они...

— Богъ съ ними, я ихъ прощаю! — трогательно отвѣчала госпожа и кротко вздыхала, поднимая въ потолоку потухающіе глаза.

Въ это тяжелое время подоспѣла новая, но не неожиданная бѣда. Василій Николаевичъ Скрипицынъ оканчивалъ курсъ ученія и выходилъ въ офицеры. Уже часто въ послѣднее время примѣрялъ онъ на голову мѣховую гусарскую шапку и мечталъ объ этой красивой формѣ съ шнулочками и побрякушками. Также часто пробовалъ онъ расчеркиваться для практики «корнетомъ Скрипицынымъ», но, къ сожалѣнію, выйти въ гусары не представилось средствъ. Весна — пора цвѣтовъ, пора любви и, можетъ-быть, поэтому самага сильнаго истребленія денегъ. Въ это время во всѣ концы Россіи несутся грамотныя и безграмотныя письма, гласящія: «Любезные родители, я, слава Богу, здоровъ, выхожу въ полкъ, то пришлите мнѣ триста рублей денегъ». Получая эти письма, провинція приходитъ въ ужасъ; мамыши, нашивавшія для сыновей всякихъ принадлежностей мужского туалета

та изъ домашняго холста, никакъ не подозрѣвали, что сынкамъ понадобятся еще и деньги, и какія деньги! Триста рублей — да этого мамашѣ въ провинціи на два года хватаетъ! И вотъ провинціалы-родители бѣгаютъ изъ дома въ домъ занимать триста рублей, а провинція шепчетъ: «ну, петербургскіе сынки протрутъ глаза батюшкинымъ деньгамъ!» Въ эту же пору явился и Василій Николаевичъ къ сестрѣ съ требованіемъ трехсотъ рублей на обмундировку.

— Мнѣ нужно бѣлье, — говорилъ онъ: — нужны разныя мелочи; ты, пожалуйста, выдай мнѣ на это денегъ, послѣ изъ оброка крестьянъ вычтешь.

— Другъ мой, я не могу себѣ сдѣлать всего вдругъ, мои дѣла идутъ плохо, — говорила сестра.

— Помилуй, ты взяла къ себѣ эту дѣвчонку, значить, у тебя есть средства, а мнѣ не хочешь въ долгъ дать, — разсердился братъ.,

Скрипицына потупила голову; ей хотѣлось сознаться, разумѣется, драматическимъ тономъ, что Варя взята по другимъ

соображеніямъ, что она приноситъ не убытокъ, а пользу, по сознаться въ этомъ значило отказаться отъ званія благодѣтельницы, а это было не въ силахъ Скрипицыной, несмотря на все появившееся въ ней въ послѣднее время смиреніе.

— Попробуй съѣздить къ Дикобразову, можетъ-быть, онъ дастъ тебѣ займы, — начала она.

— Мнѣ ѣхать къ нему? Унижаться? — воскликнулъ Василій Николаевичъ. — Нѣтъ! Если ты не хочешь этого сдѣлать, то я и подавно не могу. Моя жизнь впереди, а не хочу войти въ свѣтъ съ именемъ нищаго.

— Мой другъ, что же дѣлать? — убивалась сестра.

Василій Николаевичъ шагаль по комнатѣ.

— Ты пойми, я отъ гусарскаго мундира отказываюсь, чтобы не разорять тебя, я отказываюсь отъ своего призванія, — желчно говорилъ онъ. — Ты только вздохать умѣешь, когда людямъ нужна помощь! Ты губишь меня... И если бы я требовалъ подарковъ, жертвъ, а то я прошу въ долгъ. Ты получишь эти деньги обратно... Не бойся, я не отрекусь отъ

уплаты.

— Другъ мой, другъ мой, пойми, что я нищая! — воскликнула сестра.

— Нищая! — бросился къ ней братъ. — Нищая, а въ шелковыхъ платьяхъ ходишь, бирюльки разныя покупаешь, французишку содержишь; ты думаешь, я ребенокъ, не понимаю ничего?

— Мои отношенія къ нему святы! — зарыдала сестра. — Неужели ты-то этого не знаешь? Господи, Господи, до чего я дожила!

— Полно хныкать! Довольно я видѣлъ слезъ, пора покончить съ этими комедіями! Поѣзжай къ Дикобразовымъ и проси у нихъ денегъ, но на себя проси, слышишь, на себя проси!

Въ голосъ Василя Николаевича было нѣчто свирѣпое, беспощадное; его молодое личико было грозно.

— Я не поѣду, — зарыдала сестра.

— Поѣдешь! Слышишь: поѣдешь! Если ты откажешься отъ этого, то я здѣсь, въ твоей комнатѣ, передъ твоими глазами застрѣлюсь!

— Ахъ! — истерически крикнула сестра, и въ ея ушахъ уже раздавался звукъ будущаго

выстрѣла.

Пришлось ѣхать къ Дикобразовымъ, просить у нихъ денегъ.

— Помилуйте, вѣдь вы школу содержите, у васъ должны быть средства, — отвѣтили Дикобразовы на просьбу.

— Моя школа падаетъ, она мнѣ убытокъ приносить, — говорила Скрипицына.

— Такъ бросьте ее, идите въ гувернантки.

— Въ гувернантки! — ужаснулась Скрипицына, и ея воображенію представилась картина жизни въ гувернанткахъ.

Эта жизнь заставляетъ человѣка отказаться отъ всѣхъ своихъ привычекъ, заставляетъ его подлаживаться подъ новые характеры, навлекаетъ на него сотни выговоровъ; на эту жизнь трудно рѣшиться въ тѣ годы, въ какихъ была Скрипицына. По ея тѣлу пробѣжала дрожь.

— Ни за что, — проговорила она:— лучше умереть!

— Хорошо, если умрете; а если жизнь протянется, татъ надо же найти средства къ существованію, — холодно замѣтили ей.

Переговоры кончились ничѣмъ. Скрипи-

цына не спала всю ночь послѣ этого визита и перебирала всѣ вещи, думая, что бы такое продать, чтобы достать денегъ. Но за что она ни бралась, все было такъ ничтожно по своей стоимости, все было поддѣльное, ненужное, лощеное только снаружи.

— А вѣдь за все деньги платила! — какъ-то тупо произнесла она, качая головою, и развела руками.

Ея умъ, повидимому, началъ ей измѣняться. Что-то недоумѣвающее и трусливое выразалось въ ея помутившихся глазахъ. На слѣдующій день явился Василій Николаевичъ.

— Ну, что? — спросилъ онъ.

— Не дали, — отвѣтила сестра.

— Надо еще къ кому-нибудь съѣздить, — возразилъ братъ.

— Некуда больше ѣхать. Вотъ продай мои часы и серебро.

— Что за это дадутъ! — съ пренебреженіемъ воскликнулъ братъ.

— Что бы ни дали, но больше ничего нѣтъ для продажи, — отвѣтила глухо сестра и еще глуше прибавила: — и не ѣзди ко мнѣ, что тебѣ

ко мнѣ ъздить?

Василій Николаевичъ поглядѣлъ на нее и удивился, увидавъ, что ея брови почему-то не черны, а щеки не блистаютъ свѣжимъ румянцемъ.

— Ты больна? — спросилъ онъ.

— Чего тутъ спрашивать? Бери вещи, ступай и дай Богъ тебѣ счастья.

Скрипицына говорила не своимъ голосомъ. Братъ, молча, забралъ вещи и ушелъ. «Новую комедію ломаетъ, дура!» — думалъ онъ дорогою.

Скрипицына легла на диванъ и не трогалась съ мѣста до вечера.

— Нездоровы вы, барышня? — спрашивала Даша.

— Да.

— Охъ, ужъ горе какое! Бывало вы и не хворали прежде и веселы были, а вотъ, какъ я замѣтила, съ приходомъ этой дѣвчонки, ужъ вы меня за слово извините, все пошло подъ гору.

— Оставь ты ее въ покоѣ,- замѣтила Скрипицына.

— Нѣтъ-съ, я правду говорю, — заспорила

Даша. — И люди все ею попрекають, и я сама вижу, что мы на нее разорились.

— Да какое тебѣ дѣло, на кого я разорилась? — сердито произнесла Скрипицына.

— Какъ какое? — обозлилась Даша. — Вѣдь и мнѣ не весело, когда мнѣ два мѣсяца жалованья не отдають!

— Господи! — вырвался вздохъ у Скрипицыной.

Кончились, между тѣмъ, экзамены, настали каникулы. Кредиторы осаждали двери. Въ одинъ прекрасный день явился Даву.

— Mademoiselle, — говорилъ онъ Скрипицыной: — мнѣ очень грустно, но я долженъ попросить васъ выдать мнѣ жалованье.

— Ахъ, добрѣйшій monsieur Davout, — отвѣтила Скрипицына: — подождите, я въ настоящее время нахожусь въ страшно затруднительномъ положеніи.

— Я знаю. Я и не беспокоилъ бы васъ. Вы знаете, что я и не заикался о деньгахъ въ теченіе всего времени, — оправдался Даву; но, къ сожалѣнію, я долженъ оставить школу. Скрипицына поблѣднѣла.

— Вы оставляете школу? Другъ мой, вы

чѣмъ-нибудь недовольны?

— Нѣтъ, нѣтъ, помилуйте! Но я уѣзжаю изъ Петербурга навсегда.

Скрипицына провела рукой по лбу.

— Какъ же это?.. Такъ вдругъ... — начала она.

— Мнѣ необходимо нужно. Я ѣду черезъ недѣлю. Вы будете такъ добры и передадите деньги моему повѣренному; господину Гро.

Даву сталъ откланиваться. Скрипицына безсмысленно и безсознательно простилась съ нимъ. Ея мысли перемѣшались совсѣмъ. Три послѣднихъ года ея дѣла шли все хуже и хуже, но событія послѣдняго года выходили изъ ряда вонъ. Теперь въ ней точно что-то оборвалось.

— Уѣзжаетъ, — говорила она, ходя по комнатѣ и машинально поправляя нарукавнички на костлявыхъ рукахъ. — Уѣзжаетъ! — простонала она, потерла рукой лобъ и подошла къ столу, взяла книгу и бросила ее снова на столъ. — Уѣзжаетъ!!.- зарыдала она и прильнула головой къ столу.

Скрипицына была смѣшна даже въ эту минуту. Ея изліянія походили на ломанье мело-

драматическаго яраго актера, ея тощя подкрашенная фигурка походила на уродливую куклу, все это было комично.

И точно, какъ же не смѣяться до колотья надъ этой женщиной? Ей говорили въ дѣтствѣ: *tenez vous droit!* и она держалась прямо, за что ее прозвали потомъ «гренадеромъ въ юбкѣ»; она слышала съ пелень, что тонкія манеры и хорошая обстановка важнѣе всего, что безъ этого на человѣка смотрять подозрительно и не принимаютъ его въ порядочное общество, и она отличалась такими манерами и такой одеждой; за первое ее считали бездушныхъ истуканомъ, за вторую она вошла въ долги; ее не учили въ дѣтствѣ разсчитывать, называя это мѣщанствомъ, но теперь ее называли безчестною, такъ какъ она не могла платить долговъ бѣднякамъ ремесленникамъ; она научилась въ юности обожать подругъ и учителей и считать «позорными» всякія другія отношенія къ людямъ, и вотъ она обожала *monsieur* Даву, что заставило Даву насмѣяться надъ ея романтизмомъ, постороннихъ людей забросать ее грязью за развращенность, а насъ улыбнуться и дать ей

эпитетъ «старой дѣвы», играющей роль пансіонерки. Каждая бездѣлушка, каждый ея поступокъ были слѣдствіемъ привитыхъ къ ней съ дѣтства понятій и привычекъ, и за все это ее осмѣивали, обманывали, злословили. Да, дѣйствительно, она была смѣшна, шла бы учиться жизни въ общество всѣхъ тѣхъ людей, которые закрыли для нея двери, шла бы замужъ за тѣхъ жениховъ, которые не являлись къ ней, попросила бы по выходѣ изъ института совѣтовъ и помощи у тѣхъ юныхъ родственниковъ, которые возили ей конфеты въ институтъ и бросили ее по выходѣ оттуда... Давайте же смѣяться надъ нею! Веселѣе же! чего тутъ задумываться?

Въ комнату вошла Варя и сѣла за пяльцы. Скрипицына опомнилась, подняла голову и стала смотрѣть на Варю.

«Какая она тихая. Славное у нея лицо, — думала Скрипицына. — У нея и сердце доброе. Я видѣла, какъ она ласкала Ольгу Васильевну. Отчего же она не ласкаетъ меня, боится меня? Я сама, вѣрно, виновата. Запугала я ее, я мало вниманія на нее обращала. Она будетъ меня любить, если я буду съ ней ласковѣе. И

что я падаю духомъ? Дѣла устроятся. Даву вѣрно чѣмъ-нибудь обидѣлся; онъ вернется, я ему напишу. Будемъ мы жить мирно. Продамъ что-нибудь, займу, средства будутъ. Вотъ Варя подрастетъ, помогать будетъ. Доброе дитя!»

Скрипицына встала и подошла къ Варѣ. Она провела рукою по шелковистымъ, волосамъ дѣвочки; въ этомъ движеніи была какая-то необычайная нѣжность и мягкость.

— Варя, — сказала она грустнымъ тономъ: — слышала ли ты, нашъ добрый Даву уѣзжаетъ?

— Да-съ, онъ женится, — отвѣтила, спокойнымъ голосомъ Варя, не поднимая головы отъ пялецъ. Она не понимала всего ужаса своихъ словъ.

— Что?! — воскликнула Скрипицына и схватила руку Вари.

— Онъ женится на Бѣляевой, — отвѣтила Варя, поднявъ голову и чувствуя боль въ рукѣ, сжатой костлявыми пальцами Скрипицыной.

Это пожатіе походило на пожатіе командора въ Донъ-Жуанѣ.

— Лжешь, лжешь, лжешь, негодная

дѣвчонка! — схватила Скрипицына плечи Варя своими костлявыми пальцами. — На Бѣляевой, на моей бывшей ученицѣ! Женитесь! Лжешь! Какъ онъ могъ ее полюбить, какъ она смѣла? Говори, почему ты знаешь это?

— Они переписывались, когда она была еще здѣсь, — отвѣтила Варя, дрожа всѣмъ тѣломъ подъ костлявыми пальцами, сжавшими ея плечи.

— Переписывались! Переписывались! и я не знала!

Варя почувствовала, какъ костяные пальцы, державшіе ее, разжались, и въ комнатѣ раздался глухой стукъ отъ паденія человѣческаго тѣла. Варя въ ужасѣ вскочила и прислонилась къ стѣнѣ, не имѣя силъ пошевелинуться съ мѣста. Ея плечи еще ныли отъ боли. Въ комнату на стукъ прибѣжали Даша, Ольга Васильевна и кухарка. Онѣ хлопотали около лежавшей въ обморокѣ Скрипицыной, и никто изъ нихъ не обращалъ вниманія на Варю.

— Чего вы стоите-то истуканомъ? лучше бы помогли намъ. Вѣдь она ваша благодѣтельница была, а не наша, — сказала,

наконецъ, Даша, замѣтивъ Варю.

Варя вздрогнула и съла, почти упала на стулъ. Ея голова была отуманена всей предшествовавшей сценой. Ей самой нужна была помощь. Скрипицыну уложили въ постель. Пріѣхалъ докторъ и сказалъ, что у нея горячка. Варя начала ходить, чередуясь съ Ольгой Васильевной, за благодѣтельницаей. Она какъ-то боялась этой женщины, костлявой, блѣдной, съ полусѣдыми волосами, прежде казавшимися черными. Ее заставлялъ вздрагивать горячечный бредъ полумертваго существа. Сначала этотъ бредъ вертѣлся на давно минувшихъ свѣтлыхъ событіяхъ молодости, что подавало доктору надежду на выздоровленіе, и дѣйствительно, Скрипицына какъ будто забыла недавно случившееся и отдыхала въ далекомъ прошломъ; но какъ только стали воскресать ея силы, такъ тотчасъ же недавнее вспомнилось ей снова.

— Модисткѣ не смѣютъ давать совѣтовъ, а мнѣ, начальницѣ школы, смѣютъ! — бормотала она. — Я тряпка... Кредиторы, братъ... Переписывались, переписывались!.. Лжешь, лжешь, лжешь, негодная дѣвчонка!

Варю бросало въ жаръ отъ этихъ отрывистыхъ фразъ, а ночи, блѣдныя, тихія, мутныя, снова напоминали ей другія ночи, другую потухающую жизнь и тоже бредъ, полубезсмысленный, полупонятный, среди котораго яснѣе всего звучало слово: «не живи!..» Какъ не жить? Вопросы, мечты, воспоминанія роились, какъ пчелы, жужжали, мѣшались между собою, иногда убаюкивали молодую голову, и тихо клонилась она въ полудремотѣ, низко, низко клонилась на грудь. Вдругъ какой-нибудь внезапный шумъ на дворѣ пробуждалъ Варю; она поднимала голову, медленно обводила глазами комнату, видѣла все ту же полумертвую массу худого человѣческаго тѣла, тотъ же едва мерцающій ночникъ, едва теплющуюся лампаду, озаряющую потемнѣвшіе лики святыхъ, и снова дремала усталая дѣвушка. Въ одно изъ такихъ полупробужденій она увидѣла въ полудремотѣ, что полуживой трупъ копошится на кровати, его голова какъ-то странно поднята и прислонена въ столбику кроватной спинки, на шеѣ повязанъ платокъ, обвивающій и этотъ столбикъ отъ кровати, тѣло какъ будто

силится податься впередъ, въ горль труппа слышится какая-то страшная хрипота, ночникъ едва горитъ и, кажется, готовъ потухнуть. Варя долго смотрѣла испуганными глазами на эту картину, наконецъ, очнулась и бросилась изъ комнаты.

Въ комнату явились со свѣчами люди и внезапно озарили свѣтомъ Скрипицыну, которой худая голова была привязана къ спинкѣ кровати, а руки силились оттянуть тѣло отъ этой страшной головы съ острымъ носомъ и впалыми глазами. Стали развязывать платокъ. Скрипицына начала биться, у нея на мигъ явилась сила.

— Не хочу, не хочу жить! — бормотала она. — Слышите, не хочу! Не смѣйте трогать! Негодная, ты имъ сказала! проклятая дѣвчонка! Слышите, не хочу!

Скрипицына билась, ее пришлось держать. Черезъ минуту силы снова оставили ее. Не долго пришлось ей жить, судьба услужила ей, послала смерть.

Опять похороны, опять осмотръ покойника и глубокія соображенія, теперь еще болѣе глубокія, такъ какъ весь домъ интересовался

предстоящимъ аукціономъ и разглядываль, нѣтъ ли какой-нибудь посудыны для выгодной покупки. Вѣроятно, и читатель поинтересовался бы всѣмъ этимъ, потому что интересно видѣть, какъ продають для уплаты долговъ тѣ вещи, которыми мы любовались. Вотъ кушетка, гдѣ вы часто сиживали, расточая комплименты хозяйкѣ; вотъ блюдечко, гдѣ лежала ваша визитная карточка, она лежитъ на немъ и теперь, и суровый кредиторъ, прочитавъ на ней вашу фамилію, говоритъ: «Ишь, тоже, вѣрно, какой-нибудь прихлебатель былъ, поѣдалъ, что у насъ въ долгъ забиралось». Все это интересно, но я напомнимъ читателю, что у насъ есть одна живая вещь, которую некому взять, — это Варя. Передъ нею въ эти два года совершился цѣлый романъ человѣческой жизни, описанный въ этихъ пяти главахъ, она понимала это и не думала, что эти два года прошли безсодержательно, нѣтъ! она научилась понимать многія вещи, которыхъ не понимала прежде. Два года тому назадъ она слышала дома одни вопросы о томъ, что испечь въ воскресенье: пирожокъ или каравайчикъ? и въ этомъ видѣла почти

всю сущность жизни. Теперь она узнала, что значить блескъ баловъ и театровъ, прочитала нѣсколько романовъ; поняла, что такое значить привязанность Ардальона, Игнатьевны, Ольги Васильевны; Скрипицыной и ея брата, — и яснѣе всего поняла, что значить остаться одной среди сотенъ тысячъ чужихъ, не знающихъ о ея существованіи людей. Два года тому назадъ эти слова были для нея китайской фразой, теперь они стали роковою частью ея думъ. Она твердила себѣ: «я никому не нужна!» и эти страшныя слова были правдой. Вѣдь, положи руку на сердце, читатель, вы должны сознаться, что и вы не взяли бы ее ни въ горничныя, ни въ гувернантки, ни въ швеи; вѣдь она ни къ чему не была еще приготовлена. Да, она была никому ни на что не нужна.

— Душенька, о бѣтнѣй мой малютка! — говорила ей ломанымъ языкомъ на похоронахъ Скрипицыной какая-то нѣмка. — Фи совсѣмъ сиротъ, никого у фасъ нѣтъ?

— Никого! — опустивъ голову, отвѣтила Варя.

— О, я такъ любить такой молотенькой

созтань! — воскликнула съ чувствомъ нѣмка. — Хотить, а фасъ къ себѣ беретъ?

Варя взглянула на нее благодарными глазами и вдругъ почувствовала, что кто-то грубо, по-мужицки, дернулъ ее въ сторону.

— Чего вы съ ней разговариваете? — произнесъ молодой, но суровый голосъ.

Варя съ изумленіемъ взглянула на юношу.

— Никогда не говорите съ ней; слышите? не то пальцами на васъ показывать будутъ, — продолжалъ онъ.

Нѣмка снова подошла къ Варѣ.

— Послушайте, мадамъ, лучше не подходите къ ней, худо будетъ, — погрозилъ юноша нѣмкѣ.

Нѣмка сцѣпилась съ нимъ ругаться; а Варя поспѣшила уйти. Ей было знакомо это молодое, широкое лицо, но она забыла имя этого человѣка...

Что же оставалось ей дѣлать?..

VI

Приснухины, — романъ въ одной главѣ

Разговоръ Вари съ нѣмкой былъ прерванъ Порфириемъ Приснухинымъ. Хорошо ли, дурно ли было это вмѣшательство, — объ этомъ нечего говорить; но во всякомъ случаѣ оно показывало, что Приснухинъ рано началъ понимать многое и могъ возбудить любопытство своею особою. Глядя на его голову, можно было сказать: да, это будетъ энергичный человѣкъ! Рядомъ съ этими словами идутъ мечты о свѣтлой жизни, о широкой дѣятельности, о великихъ поступкахъ... Но, Боже мой, какъ много видѣлъ я энергичныхъ головъ, никогда не сдѣлавшихъ ничего путнаго въ жизни! Не будемъ же увлекаться мечтами, пророчить славу энергичнымъ головамъ, но шагъ за шагомъ станемъ слѣдить за ихъ жизнью, и если будетъ счастье — порадуеться, если же ихъ ждетъ нравственная гибель — поплачемъ, — вѣдь это намъ не новость!

Какъ же развивалась энергичная голова Порфирія?

Мать Порфирія была изъ крѣпостныхъ, — дѣло, какъ ведите, было очень давно и принадлежитъ къ числу казусовъ, сданныхъ въ архивъ. Сначала дѣвочка Глаша играла съ барышней и барчонкомъ и отъ нихъ научилась грамотѣ, ариѳметикѣ и клочкамъ другихъ наукъ; потомъ барышню отдали въ институтъ, барченка въ гимназію, а Глашу посадили въ дѣвичью, и она плела по цѣлымъ днямъ кружева или вышивала прошивки, воротнички, нарукавнички и изрѣдка, во время отсутствія господъ, урвавшись на свободу, въ село, смотрѣла на хороводы, присутствовала на посидѣлкахъ. Молодая, стройная, здоровая, она была типомъ тѣхъ дѣвушекъ, которыя расцвѣтали въ дѣвичьихъ старыхъ, хорошихъ помѣщичьихъ домовъ. Не было у нея ни особеннаго горя, ни особенныхъ желаній; всегда она была сыта, находилась въ теплой, сухой комнатѣ, пользовалась расположеніемъ добрыхъ, простыхъ господъ и, конечно, не заглядывала со страхомъ впередъ, такъ какъ впереди не предстояло осо-

бенныхъ печалей: ее ждало мѣсто горничной при молодой доброй барышнѣ, а тамъ — ну, нянькой сдѣлають, въ ключницы произведутъ, какой-нибудь любимецъ барина камердинеръ на ней женится... Наконецъ, пришли годы, когда барышня вышла изъ института, — господа поднялись съ насиженнаго гнѣзда, поѣхали въ Петербургъ и взяли съ собою Глашу. Поселились господа въ «большомъ домѣ». Столичный блескъ и шумъ, балы у господъ, привѣтливость молодой институтки-барышни, ласковость молодого барина-студента, росшаго тоже съ Глашей, общія воспоминанія о далекомъ дѣтствѣ, почетъ и заискиванье со стороны бѣдныхъ жильцовъ большого дома, — все это вмѣстѣ заставило Глашу успокоиться и осушить слезы по деревенскомъ углу, гдѣ жилось такъ тихо и мирно, гдѣ плылъ такой свѣжій воздухъ въ окна, гдѣ то соловей вечеромъ пѣлъ за густымъ малинникомъ, то издалека слышались ухарскіе звуки балалайки и пѣсни какого-нибудь парня, или звенѣли бубенцы на большой дорогѣ все ближе и ближе и заставляли молодое сердце биться непонятнымъ любопытствомъ:

кто это тамъ ѣдетъ? мимо или къ намъ? если къ намъ, то надолго ли? можетъ-быть, это молодой баринъ?.. Въ Петербургъ, сходя по черной лѣстницѣ, Глаша часто встрѣчалась съ какимъ-то вертлявымъ, припомаженнымъ юношей, постоянно отдававшимъ ей поклонъ.

— Наше вамъ-съ почтеніе, — говорилъ кавалеръ, наотмашь снимая фуражку и шаркая по-господски ногою.

— Здравствуйте, — сухо кланялась Глаша.

— Что рѣдко изволите выходить-съ, осмѣлюсь сдѣлать вопросъ?

— Мнѣ и въ комнатахъ хорошо.

— Это показываетъ вашу безчувственность, потому что есть люди, которымъ ваше отсутствіе причиняетъ печаль.

Глаша хихикала надъ вычурными фразами кавалера и, слыша его тяжелый, похожій на сопѣнье вздохъ, спрашивала, убѣгая въ комнату:

— У васъ, вѣрно, насморкъ?

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ кавалеръ, называвшійся Александромъ Приснухинымъ, презентовалъ Глашѣ колечко съ бирюзой.

Глаша не хотѣла брать; кавалеръ умолялъ ее взять подарокъ, объясняя, что «вы, моль, не подумайте чего дурного, а это мы вамъ презентуемъ только ради нашего уваженія». Глаша, смѣясь, взяла колечко. Любовь Приснухина была проста, серьезна; выраженія ея были вычурными, шутовскими. Вліяніе трактирныхъ знакомствъ и лакейской полированности не могли не сказаться въ дѣлѣ любовныхъ объясненій. Глаша слышала только эти смѣшныя фразы, — но не знала, что таится подъ ними, и не могла смотрѣть серьезно на знакомство съ Приснухинымъ. Послѣ перваго подарка она, еще смѣясь, еще не измѣняя своего гордаго вида, чаще говорила со своимъ поклонникомъ. Это дало ему смѣлость подарить ей платочекъ и выразить крайнюю степень своей любви къ ней щипкомъ въ руку выше локтя. На это Глаша отвѣтила сильнымъ ударомъ по рукѣ Приснухина и строптиво замѣтила ему:

— Вы рукамъ воли-то не давайте, я вамъ не позволю!

Какъ видите, дѣла шли къ обычной развязкѣ, къ свадьбѣ, но вмѣсто свадьбы произо-

шло совсѣмъ другое: Глаша вдругъ начала избѣгать встрѣчь съ Приснухинымъ и, встрѣчаясь съ нимъ, на всѣ его любезности отвѣчала, что у нея нѣтъ свободнаго времени говорить съ нимъ. Приснухинъ вздыхалъ, но Глаша уже не хихикала и оставалась серьезной, даже грустной. Какъ-то поклонникъ рѣшился высказать яснѣе свою любовь, но ему отвѣтили:

— Полноте, что вамъ меня любить!

Приснухинъ опустилъ голову, его поразили грустный и серьезный тонъ этихъ словъ. Встрѣчи кончились, — правда, была еще одна встрѣча, но Глаша даже не замѣтила своего обожателя.

— Что за жизнь распроклятая, такъ я и изобразить тебѣ, братецъ ты мой, не умѣю, — говорилъ Приснухинъ тощему сосѣду слесарю, уже знакомому читателямъ.

— А по мнѣ — первое выпей, и ничего твоя жизнь съ тобою не сдѣлаетъ? Потому что вино — значить веселіе, духъ бодрый, вотъ оно что! — отвѣчалъ слесарь и брался за фуражку съ раздвоеннымъ козырькомъ.

— Въ кабакъ, кабакъ пойдетъ, такъ я и зна-

ла! кровопійца ты этакой, — кричала толстая слесарша. — И вы-то хороши, Александръ Ивановичъ, мужа моего смущаете, — накидывалась она на Приснухина.

— Помилуйте-съ, чѣмъ же мы тутъ причинны, — оправдывался Приснухинъ.

— Какъ чѣмъ?.. Да чего вы нюни-то передъ нимъ распустили? Передъ нимъ заплачь, такъ онъ и думаетъ, что ему тоже ревѣть надо.

— Такъ что же-съ?

— Какъ что? Извѣстно, у него какъ слезы, такъ и водки подавай! Ужъ такой нравъ его, кажется, знаете, вѣдь не чужіе, — сосѣди... Ну, а тамъ бить начнетъ меня же, вамъ хорошо...

— Ужъ какое хорошо, — хуже быть не можетъ! — вздыхалъ Приснухинъ...

А Глаша дѣлалась все задумчивѣе и грустнѣе. Смѣхъ молодой, улыбка радостная, краска свѣжая на лицѣ, — все пропало. Люди около нея о чемъ-то шушукались, а она и смотрѣть въ глаза имъ не смѣла.

— Ты это что, какъ въ воду опущенная, ходишь, — сурово спросила у нея однажды барыня.

У Глаши навернулись слезы, и дрогнуло

тѣло.

Барыня осмотрѣла ее пристальнымъ взглядомъ, а у самой сердце сжалось. Любила она Глашу въ теченіе многихъ лѣтъ чисто родственною любовью.

— Ты знаешь, у кого ты служишь? — еще строже и грознѣе спросила она, стараясь по-давить въ себѣ чувство естественной привязанности къ Глашѣ. — У моей дочери, ты служишь, у дѣвушки, у ангела чистаго.

Глашу била лихорадка, грудь поднималась отъ сдержанныхъ рыданій...

— Что же ты думаешь, что и еще годы пройдутъ, а никто и не узнаетъ, въ какомъ ты положеніи? Ты взгляни на себя-то!

Глаша инстинктивно опустила глаза на свою талью и поблѣднѣла, какъ полотно.

— Хорошо? — спросила барыня.

— Матушка, Вѣ-ра Га-ври... — не договорила Глаша, захлебнувшись словами, и рухнула къ ногамъ барыни.

— Глаша, Глаша, голубушка! — вырвалось у барыни, и она быстро наклонилась къ лежавшей на полу дѣвушкѣ.

Много-въ этотъ день пролилось слезъ.

— Не являлся бы ты ко мнѣ на глава, — говорила барыня Вѣра Гавриловна своему сыну-студенту. — Что ты надѣлалъ, за что ты ее погубилъ? Ты бы хоть вспомнилъ, что это за дѣвушка была!

Сынъ покраснѣлъ.

— Увлекся! — пробормоталъ онъ, передернувъ плечами.

— Увлекся! Неужели за тобой, какъ за малымъ ребенкомъ, еще нянекъ нужно, чтобъ ты бѣды не надѣлалъ? Жизнь-то вамъ чужая не дорога! И чему вы учитесь? Всѣ науки выучили, а умнѣй не сдѣлались, — отвернулась мать. — Душегубцы!

Наступило молчаніе; человѣчное, горячее состраданіе въ доброй женщинѣ начало смолкать; проснулось сознаніе того, что она живетъ въ свѣтѣ, что кругомъ кишитъ муравейникъ со своими толками, соображеніями...

— Надо что-нибудь сдѣлать, пристроить ее какъ-нибудь, — промолвила мать.

— За ней, кажется, портной какой-то ухаживаетъ, — отвѣтилъ сынъ.

— Откуда ты узналъ эти подробности? — спросила мать.

— Она рассказывала.

Мать съ отвращеніемъ посмотрѣла на него.

— Иди ты отъ меня! — проговорила она. — Бѣдная ты моя, Глаша! А я еще, грѣшница, подумала, что ты сама завлекла его, негодяя!

Сынъ повернулся на каблукахъ и вышелъ изъ комнаты, пожимая плечами, но не имѣя силъ скрыть краску стыда. Вѣра Гавриловна плакала. Она любила Глашу; она привыкла къ ней; она любовалась, какъ въ былые годы молилась Глаша въ деревенскомъ храмѣ; она иногда мечтала, что никогда не разстанется съ Глашей, что Глаша будетъ няньчить ея внучатъ, будетъ одною изъ тѣхъ вѣрныхъ слугъ, какія были и въ домѣ матери самой Вѣры Гавриловны, какія хранили и ея собственную жизнь въ далекія времена дѣтства; она, пріѣхавъ въ столицу, радовалась, что и ея дочь, и ея сынъ не забыли въ годы разлуки своей подруги дѣтства и привѣтливо приняли ее, эту бѣдную Глашу. И что же вышло, что вышло! Теперь всѣ мечты Вѣры Гавриловны разлетѣлись въ прахъ. Была минута, когда барыня думала простить Глашу, — нѣтъ, не про-

стить; она вѣдь даже и не обвиняла свою любимицу, но просто думала она оставить дѣвушку у себя, отдавъ будущаго ребенка на воспитаніе въ деревню. Была минута, когда барыня увлеклась этими мечтами и даже представляла Глашу еще болѣе преданной, благодарной слугой; но всѣ эти мечты смѣнились новыми соображеніями, болѣе глубокими, болѣе вѣрными, можетъ-быть, но зато болѣе безотрадными. Барыня думала, что, оставивъ Глашу у себя, она дастъ ей возможность видѣться съ молодымъ бариномъ, а кто поручится, что онъ перестанетъ ухаживать за Глашей? Потомъ примѣръ для дочери, потомъ толки прислуги, знакомыхъ, потомъ мысли о томъ, что повадился кувшинъ по воду ходить, — далѣе извѣстно, что бываетъ съ кувшиномъ. Барыня рѣшилась переговорить съ портнымъ, переговорить съ Глашей. Нелегки были эти переговоры для всѣхъ трехъ существъ, и, право, тяжело ихъ передавать. Еще тяжелѣе было бы рассказывать, какъ молодой баринъ говорилъ своимъ товарищамъ: «у меня дома цѣлая драма разыгралась. Расчувствовался и попалъ въ петлю...»

— Такъ-то-съ, Глафира Николаевна, — покачалъ портной головою, когда онъ и Глаша остались одни. — Не хотѣли вы нашихъ рѣчей слушать, загубили себя не за денежку!

— Ужъ не говорили бы вы мнѣ этого, — зарыдала Глаша: — мнѣ и безъ того тяжело.

— Мнѣ, думаете, легче? — отозвался портной.

Наступило молчаніе.

— Не берите вы меня за себя, голубчикъ мой, Александръ Ивановичъ! Не стою я васъ! — рыдала Глаша. — Любить-то вы меня не будете.

— Эхъ, Глафира Николаевна, если бъ я не пропащій человекъ былъ, такъ я и не знаю, какъ бы я васъ осчастливилъ, — махнулъ рукою портной.

Глаша и онъ помолчали: она слышала какіе-то новые звуки любви, это были уже не полированные фразы ухаживателя, но скорбь страстнаго человека, хватавшая за сердце.

— Пить я началъ, — глухо пробормоталъ портной, отвернувшись въ сторону.

Глаша рыдала. Портной тихо приблизился къ ней и обнялъ ее одною рукою. Она не тро-

галась съ мѣста. Онъ поцѣловаль ее въ щеку. Въ былые дни онъ не посмѣлъ бы сдѣлать этого, а она ударила бы его за такой поцѣлуй, — теперь было не то.

— Голубчикъ мой, какъ мы жить-то будемъ! — вырвалось у Глаши.

— Живы будемъ, — увидимъ! — промолвилъ онъ, и въ его глазахъ сверкнулъ огонь страсти.

Кажется, этотъ человѣкъ готовъ былъ схватить ее въ эту минуту и унести куда-то далеко-далеко, на край свѣта, чтобы жить съ нею вдвоемъ, чтобы не видать, не слышать людей!.. А вечеромъ ему говорилъ весь большой домъ на сотнѣ своихъ разнообразныхъ языковъ:

— Ну ужъ, Александръ Ивановичъ, убили бобра!.. Не такая бы пошла за васъ... Охота пришла на ней жениться, вы человѣкъ работающій, честный... И что вы нашли въ ней хорошаго? ничего мы въ ней хорошаго не видимъ!

— Намъ-съ хороша, а на другихъ плевать, — сурово отвѣчалъ Приснухинъ и, гордо отворачиваясь отъ сосѣдей, шелъ со двора.

— Ишь, онъ же и рыло поднимаетъ! Шваль этакая! — говорили про достойнаго уваженія человѣка.

А этотъ человѣкъ бродилъ безцѣльно по городу, словно бѣжалъ отъ кого-то, словно хотѣлъ скрыться отъ своихъ думъ, а думы были безотрадныя, и не у кого было допроситься отвѣта на нихъ, никто и не могъ и не умѣлъ укрѣпить портного, да онъ самъ едва ли бы сумѣлъ высказать, что давило его грудь, что надрывало сердце. То ему казалось, что плевать онъ хотѣлъ на толки, а то стыдно было на людей смотрѣть; то горячо, безумно любилъ онъ Глашу, то попрекалъ ее мысленно за ея грѣхъ; то въ будущемъ видѣлъ счастье, а то живо до безобразія, до цинизма, къ которому способна необузданная страстная натура, представлялъ себѣ свою женитьбу, и въ эти минуты хоть въ воду броситься, такъ и то было бы легче. И шелъ онъ, находившись по городу, въ кабакъ...

Гордо, фертомъ, какъ выразился большой домъ, стоялъ онъ подъ вѣнцомъ, чтобы показать людямъ, что, молъ, смотрите, какъ мы женимся и на васъ плевать хотимъ; а на дру-

гой день встрѣтился съ сосѣдомъ, тотъ его съ законнымъ бракомъ поздравилъ, пожелалъ ему дѣтей, — и пошелъ Приснухинъ выпить. Вечеромъ онъ билъ жену.

— Голубчикъ мой, простите меня... Рабой вашей буду, только не бейте меня... Все послѣ выместите, только теперь пощадите, вѣдь вы знаете... — рыдала Глаша, а у замочной скважины, у оконъ, у стѣнъ были уши, — незримая въ темнотѣ ночи тѣни ловили каждый вопль и разносили о немъ вѣсти по дому.

— Билъ ее сегодня!

— О-о!

— Вотъ житье-то будетъ!

— Ха-ха-ха! — хохотали злые духи во мракѣ и, кажется, этотъ хохотъ слышался въ бѣдномъ жилищѣ портного, доходилъ до самага сердца обитателей этого угла. — Ха-ха-ха, вотъ житье-то будетъ!

На слѣдующій день портной бушевалъ:

— Молчать!.. Никто меня уговорить не смѣй! я самъ себѣ господинъ. Ну, и конечно!.. Какъ хочу, такъ и дѣлаю! Слесарша усовѣщиваетъ? исколочу проклятую!.. Ты моя жена, ну, и конецъ, ну, и конецъ!.. Ноги твои

цѣловать буду и никто не запретить, никто!.. Я самъ себѣ господинъ... Подслушиваютъ? Пусть подслушиваютъ, окаянные!

Еще насталь день. Портной протрезвился, валялся въ ногахъ у своей жены, руки ея цѣловаль, просиль прощенья, и страстной, горячей любви было полно все его существо.

— И за что я ее гублю? — говорилъ онъ себѣ. — Каинъ я проклятый, демонъ отверженный. Да я этакую жену на рукахъ носить долженъ; и вѣдь хоть бы попрекнула она меня, — такъ нѣтъ; я ее билъ, а она руки мои цѣловала!

И думы все росли, все росли въ теченіе недѣли, когда портной кроиль, шиль сюртуки, брюки, жилеты, и все тяжелѣй и тяжелѣй становились его упреки себѣ; въ праздникъ дѣлалось совсѣмъ тошно... Вечеромъ слышались мольбы Глаши...

Годился сынъ. Портной запилъ сильнѣе, но черезъ шесть недѣль онъ началъ остепеняться. Сына онъ не любиль, но зато сильнѣе сталъ любить жену и рѣже билъ ее. Въ Глашѣ тоже произошла переменна: она уже не молила мужа, не плакала, но суровымъ шопотомъ

говорила ему:

— Ты меня не бей, ребенокъ спить... Не подходи ко мнѣ, неровень часъ...

Мужъ, несмотря на опьянѣніе, замѣчалъ зловѣщій блескъ жениныхъ глазъ и дѣлался тише, смирнѣе. На другой день онъ просилъ извиненія у жены безъ страстнаго порыва, но искренно и какъ-то вѣжливо.

— Скверную я привычку взялъ, Глафира, — говорилъ онъ. — Не пускай ты меня въ кабакъ, совсѣмъ пропаду и тебя-то загублю.

Какъ-то онъ увидалъ, что жена тащитъ ведро съ помоями. Это было слишкомъ черезъ два года послѣ женитьбы.

— Что ты, Глаша, сама таскаешь ведра, — сказалъ онъ ей. — Бѣда еще какая-нибудь приключится, храни Господи!

Приснухинъ надѣялся скоро сдѣлаться отцомъ.

Родилась дочь.

— Вотъ она какая красавица! — любовался отецъ ребенкомъ, лежавшимъ въ люлькѣ. — Ты куда ползешь! — крикнулъ онъ сынишкѣ, едва тащившемуся около стѣны къ ложу сестренки. — Убьешь, сорванецъ, мла-

денца! — портной погрозилъ сыну кулакомъ.

— Не любишь ты его, Александръ Ивановичъ, — слабымъ голосомъ говорила Глаша, лежавшая въ постели.

— Что мнѣ его не любить! — отозвался мужъ:— я только насчетъ того, что онъ вездѣ суется...

— Нѣтъ, ты его притѣсняешь, — заплакала Глаша.

— Ишь, чего расплакалась! — взволновался портной. — И безъ того больна, вѣдь этакъ и Катя захвораетъ... Ну, посмотри, я ему пряника далъ. — На, баринъ, пряника, чего хвостъ поджалъ, — обратился отецъ къ сыну, остановившемуся въ раздумьи въ ту минуту, когда ему былъ показанъ кулакъ.

Такъ пошли дни, мѣсяцы и годы въ жилищѣ Приснухина. Семья прибавлялась и убавлялась ежегодно. То родины, то похороны. Бѣдность росла. Нерѣдко приходилось Глашѣ просить помощи у старой барыни. Барыня стала холодна къ Глашѣ, но помогать не отказывалась. Портной почти пересталъ пить и началъ относиться къ своей женѣ болѣе гуманно. Работа стала прибавляться: Приснух-

инъ вошелъ въ сдѣлку съ какимъ-то подрядчикомъ. Сына, какъ мы видѣли, онъ не любитъ и готовъ былъ всегда побить, но за сына стояла мать, и злоба отца мало-по-малу перешла въ какую-то насмѣшливую холодность. Разъ сынишка, играя на дворѣ, увидалъ нищю съ ребенкомъ.

— Вотъ, батюшка, рубашечки даже нѣтъ у ребенка, — говорила она жалобнымъ голосомъ прохожему.

— Возьми мою; у меня другая есть, — быстро подвернулся Порфирій и, стянувъ черезъ голову верхнюю рубашонку, отдалъ ее нищей.

— Ишь, какой жалостливый, такъ и видно, что не холопъ, — отозвался отецъ, услышавъ о поступкѣ сына.

Въ другой разъ Порфирій сотворилъ другую штуку. Сынъ жившаго въ домѣ надворнаго совѣтника постоянно задиралъ сына портного: то толкнетъ его, то языкъ ему высунетъ, а иногда и скажетъ:

— Дрянъ!

Порфирій въ одну изъ такихъ встрѣчъ не вытерпѣлъ и «вздулъ», какъ онъ выражался,

семилѣтняго врага.

— Обидчивъ больно, не наша кровь! — презрительно улыбнулся портной, когда ему пожаловались на буяна.

Встрѣчая холодность и притѣсненія со стороны отца, Порфирій привязался къ матери. Сынъ и мать научились понимать каждый жестъ, каждый взглядъ другъ друга. Мать не бранила сына за шалости, чтобы не навлечь гнѣва отца, но качала ему незамѣтно головой, и сынъ конфузился, утихалъ. Мать не плакала при сынѣ, но сынъ угадывалъ по цвѣту ея глазъ, по выраженію ея лица, что ей тяжело, что она плакала безъ него. Въ обоихъ существахъ развилась изумительная чуткость.

— Мамка, что ты все плачешь? — спрашивалъ маленькій Порфирій, сидя съ нею по вечерамъ у топившейся печки.

— Такъ... горя много... — отвѣчала мать, ласково глядя на него.

Сынъ вздыхалъ, точно и ему было извѣстно тяжелое горе, и смотрѣлъ на огонь, который дрожалъ и вспыхивалъ въ печи. Какіе-то сны носились надъ дѣтской головкой ребенка и надъ головой его матери. Въ ком-

натѣ царила тишина.

— Что ты шляешься по двору! — раздавался крикъ на лѣстницѣ, и въ комнату появлялся Приснухинъ-отецъ, ведя за ухо одного изъ мальчишекъ-работниковъ.

— Я только вышелъ, — хныкалъ мальчуганъ.

— Халаты дерете, сапоги топчете, не напасешься на васъ одежи, разбойники! — бушевалъ портной.

— Полно, Александръ Ивановичъ, ложись спать, — уговаривала его жена.

— А! ты думаешь, я пьянъ? — кричалъ мужъ. — Врешь, я не пьянъ! Гдѣ баринъ-то?

Баринъ, или, иначе сказать, Порфирій успѣвалъ спрятаться въ уголь и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Ушелъ, дома его нѣтъ! — отвѣчала жена.

— Погоди, приди онъ, такъ я ему задамъ выволочку! — грозилъ портной, и если жена очень сильно рѣшалась возражать, то мужъ пробовалъ вспомнить былые годы и побить ее.

— Мамка, отецъ за меня тебя колотить, — говорилъ сынъ на слѣдующій день, сидя сно-

ва съ матерью, у огня. — Я прятаться отъ него не буду...

— Нѣтъ, это онъ не за тебя дерется, — отвѣчала мать.

— А за что же?

— Такъ, Порфирушка, пѣетъ онъ...

— А съ чего онъ пѣетъ, мамка?

— Христось его знаетъ, — говорила мать, едва сдерживая слезы.

Знала она, съ чего онъ пѣетъ.

Наставало молчаніе; сынъ глядѣлъ въ огонь и о чемъ-то размышлялъ.

— Я не буду пить, какъ большой вырос-ту! — какъ бы самому себѣ говорилъ сынъ, а можетъ-быть, онъ говорилъ огню, который весело и бойко сверкалъ передъ его глазами, съ трескомъ пожирая смолистыя дрова.

Шли еще годы, сынъ началъ читать, — мать научила его, научила, сидя все у той же печки въ полусумеркахъ зимнихъ вечеровъ. Нерѣдко ребенокъ, разбирая склады, засыпалъ у ея ногъ съ книжкою въ рукахъ, и когда онъ просыпался, то видѣлъ тѣ же потухающія дрова въ печи и ту же мать съ заплаканными глазами и груднымъ младенце-

мъ на рукахъ.

— Мамка, ты любишь мою сестричку? — спрашивалъ сынъ.

— Люблю, я всѣхъ васъ люблю, — отвѣчала мать.

— А отецъ не всѣхъ любитъ, — задумывался сынъ и протяжно говорилъ, устремляя глаза въ огонь:— меня онъ не любитъ!

— Мамка, хочешь, я въ книжкѣ читать буду? — спрашивалъ онъ, когда научился читать.

— Читай, голубчикъ.

— Ну, слушай!

Начиналось чтеніе какой-нибудь книжки, романа Лажечникова или Загоскина, Нарѣжнаго или Масальскаго, — всего того, что мать могла гдѣ-нибудь достать для любящаго чтеніе сынишки, и эти, то наивныя, какъ дѣти, то чувствительныя, какъ женщины, книги занимали дѣтскій умъ и согрѣвали дѣтское сердце: онѣ были, со всѣми своими странностями и ошибками, и добрѣе и умнѣе людей, окружавшихъ ребенка.

— Кто же это, мамка, французы? Нехристи они, что ли? — спрашивалъ сынишка,

встрѣтивъ въ книгѣ разсказъ о нашествіи французовъ на Россію

— Должно-быть, нехристи.

— А за что они нашихъ бьютъ?

— Такъ, Порфирушка... Объяснять-то я тебѣ ничего не умѣю.

Порфирій устремлялъ глаза въ печку и думалъ, искать объясненій для своихъ вопросовъ, обѣщаль матери научить и ее всему, чему выучится самъ. Вопросы становились, между тѣмъ, съ каждымъ днемъ сложнѣе и сложнѣе. Рядомъ съ этими вопросами шло развитіе ребенка въ практическомъ отношеніи. Родился ли у него братишка или сестренка, Порфирій сноваль по комнатѣ, услуживаль, бѣгахъ за священникомъ. Умираль ли кто-нибудь изъ дѣтей, Порфирій зналь, что будетъ стоять гробъ, панихида, могила. Приходилъ ли отецъ изъ мѣщанской или ремесленной управы, Порфирій зналь, на что будетъ злиться отецъ и кого ругать будетъ. Отецъ началъ понемногу входить въ подряды при помощи протекціи жениной барыни; Порфирій и тутъ зналь, какое сукно поставитъ отецъ, кого угощать будетъ, кому деньгами, ротъ заткнетъ.

Пріемъ новаго мальчишки въ ученіе заставлялъ Порфирія предугадывать всю судьбу этого мальчугана и жаль ему было отца и мать этого ребенка, когда они кланялись и просили его отца, Приснухина, побережь ихъ дитятко ненаглядное. И чѣмъ тяжелѣе становились сцены семейной жизни, тѣмъ сильнѣе тянуло Порфирія къ книжкѣ или за порогъ квартиры къ бабкамъ. Мы видѣли его управлявшимъ лодкою на Фонтанкѣ; мы могли бы увидѣть его въ кулачномъ бою на дворѣ. Мы слышали, какъ онъ успокоилъ однажды отца заступающаго за мать, — мы могли бы подслушать, какъ онъ говорилъ отцу:

— За меня крестный отецъ въ гимназію платитъ, ты меня не попрекай.

— Кто тебя, баринъ, попрекаетъ; ты въ генералы выйдешь, а мы порадуемся, — насмѣшливо отвѣчалъ портной и кланялся сыну. — И насъ, грѣшныхъ, можетъ-быть, не позабудешь, накормишь подъ старость за то, что мы тебя въ малолѣтствѣ кормили.

Мы могли бы увидеть въ эти минуты на лицѣ Порфирія краску стыда и негодованія. Онъ былъ изъ тѣхъ натуръ, которымъ нужны

прямые отвѣты на прямые вопросы, открытый бой съ незамаскированнымъ врагомъ. Эти натуры могутъ дѣлать дѣло, могутъ бороться, могутъ успѣвать во всемъ; но онѣ испортятъ всякое дѣло, если съ ними будутъ хитрить; онѣ вспыхнутъ, какъ порохъ, и сожгутъ весь запасъ своей силы въ то время, какъ врагъ будетъ медленно и тайно подводить свои мины, разставляя сѣти. Передъ Порфиріемъ стоялъ теперь человѣкъ, котораго онъ никакъ не могъ назвать своимъ другомъ, потому что помнилъ его тайныя колотушки, и но могъ считать его врагомъ, потому что этотъ человѣкъ наклонялъ передъ нимъ голову, отвѣчалъ на его дерзости кротостью и только изрѣдка въ этой кротости слышался звукъ насмѣшливости и презрѣнья. Порфирій не зналъ, какъ держать себя съ этимъ человѣкомъ, выходилъ изъ себя въ столкновеніяхъ съ нимъ, встрѣчалъ въ отвѣтъ на свои вспышки спокойные отвѣты и краснѣлъ, терялся, внутренно ругая себя.

Въ гимназіи Порфирій отличался своею откровенностью, быстрымъ соображеніемъ, бойкостью, но считался не очень прилежны-

мъ ученикомъ и засиживался въ классахъ по два года. Лѣнтяй — это названіе часто прилагалось бы къ нему, если бы его горячая натура могла быть заподозрѣна въ сонливости, всегда сопровождающей настоящую лѣность. Его прозвали вѣтромъ, опіемъ, вспышкою. Но почему же онъ лѣнился? Начнетъ онъ уроки учить, а отецъ въ это время треснетъ кого-нибудь изъ своихъ учениковъ, тотъ разревется, — глядишь, Порфирій покраснѣетъ, заткнетъ уши, броситъ книгу и бѣжитъ во дворъ. Тамъ игра, смѣхъ, его приглашаютъ въ бабки играть, — заиграется онъ, а вечеръ идетъ къ концу.

— Что ты, Порфирушка, все бѣгаешь, не учишься? — упрекаетъ его мать.

— Не могу я учиться, когда въ домъ стонъ стоитъ. Чего отецъ-то зря мальчишекъ забиваетъ? — отвѣчаетъ Порфирій.

— Да ты вниманья не обращай на это, — совѣтуетъ мать.

— А ты, мамка, зачѣмъ по вечерамъ плачешь? Нешто не отъ того тебѣ горько, что въ домъ у насъ Содомъ? Нешто не оттого ты вонъ то во щи соль забудешь положить, то въ

комодъ вмѣсто шкапа чашки ставишь.

Мать вздыхаетъ.

— Посмотрѣль бы я, много ли бы ты научилась, если бъ тебя на мое мѣсто засадить, — говорилъ сынъ.

— Умный ты, на все у тебя отвѣтъ найдется, — усмѣхается и въ то же время вздыхаетъ мать. — А учиться надо, голубчикъ, надо.

— Самъ я это знаю!

Воскресный вечеръ приходитъ, и снова мать съ сыномъ сидятъ у огня, сынъ снова читаетъ ей книги и говоритъ съ нею, но теперь онъ учитъ ее: онъ передаетъ ей слышанное отъ учителей, рассказываетъ, за что били насъ французы, и мать чутко слушаетъ; ей становится веселѣе, и у нея является какая-то бодрость, та бодрость, которая дѣлала ее прекрасною въ дѣвическіе годы. Иногда разговоры смолкнутъ, мать и сынъ задумчиво глядятъ на огонь, и носятся въ ихъ головахъ какія-то свѣтлыя думы.

— Теперь я счастлива, — задумчиво шепчетъ мать. — Учись, голубчикъ, Меня учи...

Сынъ удивленными глазами смотритъ на мать; онъ еще и не сознавалъ, что онъ учитъ,

ее, а, она уже поняла это и увлекалась мыслью, что и она будет что-нибудь знать.

— Помнишь, сколько ты за меня отъ отца терпѣла? — спрашиваетъ. сынъ нѣжнымъ голосомъ, вспоминая, какъ мать защищала его...

— Богъ съ нимъ, со старымъ житьемъ! — произноситъ мать и проводитъ, рукой по волосамъ сына, а тутъ бѣжитъ кто-нибудь изъ младшихъ ребятишекъ и кричитъ:.

— Мама, мама, мнѣ игъюшку подалили!

Ночь наступаетъ мирно...

Шель Порфирію семнадцатый годъ. Въ это время портной, уже перенесшій мастерскую, изъ маленькой квартиры въ большую, задумалъ открыть еще. большую мастерскую и прихватилъ третью квартиру. Денегъ у него скопилось не мало, подряды вывезли его на хорошую дорогу. Мало и рѣдко онъ пилъ, теперь онъ называлъ; питье желаньемъ «побаловаться», но оно уже не было необходимою забыться отъ горя. Жену онъ уже не билъ, рѣдко билъ и мальчишекъ, хотя иногда и давалъ имъ мимоходомъ тумака. Фигура его сдѣлалась степенною; глаза, горѣвшіе прежде

лихорадочнымъ блескомъ отъ страсти, отъ недовольства жизнью, отъ гнѣва, стали спокойнѣе, холоднѣе, лукавѣе, и зорко высматривали... человека. Низкогнулась его спина передъ всѣми, кто стоялъ выше его или кого можно было провести. Холодно выпрямлялся онъ передъ просителемъ, передъ должникомъ, и на всѣ мольбы сухо отвѣчалъ:

— Всѣмъ ѣсть хочется!

«Изъ, прошенья шубы не сошьешь», «слезами сытъ не будешь», «всѣхъ покойниковъ не оплачешь», «не, побожишься — не продашь», и тому подобныя фразы пошли въ ходъ, и говорились онѣ съ добродушно-лукавою улыбкою. Теперь «большой домъ» въ лицѣ своихъ жильцовъ кланялся въ поясъ Александру Ивановичу; теперь «большой домъ» боялся говорить дурно объ Александрѣ Ивановичѣ; теперь Александръ Ивановичъ глядѣлъ съ презрѣньемъ на «большой домъ» и словно вызывалъ его на бой: «ну, говори, что ты про меня, подлець, знаешь?» Въ это время умерла барыня Глаши, а молодой баринъ отказался платить за Порфирія въ гимназію. Приходилось окончить годъ уче-

нья и выйти изъ пятого класса. Порфирій сталъ просить отца платить за него въ теченіе этихъ двухъ лѣтъ.

— Видно, и кошкѣ поклонисься иногда въ ножки, — усмѣхнулся отецъ. — Нѣтъ, братъ, довольно учености набираться, умъ за разумъ зайдетъ. Посмотри-ка на нашихъ ученыхъ купчиковъ, все пьяницы; что отцы нажили, то они прожили. Сволочь!.. Теперь ты можешь у меня дѣломъ заняться, а мнѣ другихъ дѣтей грамотѣ обучить надо.

— Я буду ихъ учить, только платите за меня, — просилъ Порфирій. — Я все готовъ дѣлать.

— Смѣшной ты человѣкъ! Много ли времени будетъ у тебя оставаться отъ ученья на дѣло и за что же я тратиться буду?

— Да вѣдь я же буду учить дѣтей, книги вамъ вести...

— Ну, эти дѣла и за харчи всякій согласятся вести, — усмѣхнулся отецъ. — Махни я рукой, такъ студентишки-оборванцы сотнями набѣгутъ, ѣсть-то и имъ, чай, хочется. А ты, баринъ, больно дорого свой трудъ цѣнишь... Тебя, пожалуй, и одѣвать надо?

Началась одна изъ страшныхъ, скорбныхъ сценъ. Поднялась грязь упрековъ, воспоминаній, обличеній и брани. Насмѣшки отца и ѣдкія фразы юноши-сына слились въ одинъ какой-то адски-мучительный и безобразный по своей безчеловѣчности хоръ.

— Такъ живите же вы одни со своими деньгами; я найду гдѣ-нибудь кусокъ хлѣба, — воскликнулъ сынъ.

— Не видалъ я что-то, чтобы хлѣбъ на улицахъ валялся, а впрочемъ, поищи, баринъ, можетъ, ты и счастливый, — усмѣхнулся отецъ.

— Да ты лучше избилъ бы меня, чѣмъ издѣваться надо мною! — вырвался стонъ изъ груди сына.

Глаза отца сверкнули на мигъ и потухли снова.

— Зачѣмъ бить, Порфирій; вольному вода, спасенному рай... Хочешь особнякомъ жить — живи; придешь ко мнѣ — милости просимъ... Ты вотъ теперь все кулаки сжималъ, а ты кулакомъ стѣны не прошибешь, ты проси; знаешь: просите и дастся вамъ!

— Онъ и просилъ тебя, Александръ Ивано-

вичъ, — слышался неожиданно женскій голосъ. — Только если кулакомъ стѣны не прошибешь, такъ и просьбой не много изъ нея сдѣлаешь... Стыдно тебѣ, да и грѣхъ...

Упрекъ бѣлъпроизнесенъ ровнымъ, тихимъ голосомъ, но Александръ Ивановичъ поблѣднѣлъ.

— Сынъ горячъ, но тебя не ударить, — продолжала жена все тѣмъ же тономъ. — А вѣдь ты, когда горячъ быкъ, такъ ты людей въ гробъ заколачи...

— Полно, Глафира Николаевна, что про старое говорить, — торопливо перебилъ Александръ Ивановичъ. Его, точно каленое желѣзо, жгли простыя слова жены и ея убійственно спокойный тонъ. — Я не могу заплатить за него, потому что другихъ дѣтей обучать надо. Или тебѣ эти не милы, только онъ милъ?

— Ты вѣдь и не думаешь этого, — просто отвѣтила жена.

Мужъ отвернулся. Порфирій вышелъ изъ комнаты, махнувъ рукою. Порфирій пошелъ къ инспектору гимназіи спросить, не можетъ ли тотъ, доставить ему уроковъ. Инспекторъ

любилъ Приснухина, но помочь ему не могъ: уроковъ не было на примѣтъ. Инспекторъ обѣщаль доставить ихъ своему любимцу зимою, а теперь предложилъ написать письмо къ его отцу и усовѣстить врага.

— Нѣтъ, не пишите; онъ только осмѣетъ васъ, — отвѣтилъ Порфирій.

— Какъ осмѣетъ? — изумился инспекторъ.

— Да такъ; скажетъ, что на чужія деньги у всѣхъ глаза горятъ, что въ чужомъ карманѣ всѣ считать умѣютъ.

Инспекторъ задумался и обѣщаль хлопотать, чтобы Порфирія по бѣдности избавили отъ взноса платы. Возвращаясь домой, Порфирій встрѣтился съ отставнымъ дьячкомъ-читальщикомъ, читавшимъ псалтырь и надъ тѣломъ Семена Мартыновича. Юношу озарила какая-то мысль.

— А что, взяли бы вы меня къ себѣ, если бы я сталъ пѣть въ хорѣ вашего сына или читать съ вами по покойникамъ? — спросилъ онъ.

— Отчего не взять, — отвѣтилъ дьячокъ. — Сходи, поговори съ Васькой.

Порфирій пошелъ къ Васькѣ, къ сыну дьячка, регенту пѣвчихъ, нанимавшихся къ

кому угодно на свадьбы и на похороны и пѣвшихъ въ одной изъ ближайшихъ отъ «большого» дома церквей. Квартира регента Богословскаго находилась на чердакѣ. Тамъ Порфирій засталъ юнаго хозяина, какую-то отвратительную женщину и водку; въ углу, свернувшись клубкомъ, спалъ на дырявой шинелишкѣ одинъ изъ маленькихъ пѣвчихъ и изрѣдка почесывался, вѣроятно, обороняясь отъ клоповъ. Регентъ былъ полупьянъ. Объясняться было почти невозможно, но надежда на принятіе въ число пѣвчихъ была, такъ какъ хозяинъ радушно предложилъ гостю водки и, хлопнувъ его по плечу, сказалъ:

— Поступай-ка, братъ, къ намъ въ хортъ. Ты вѣдь лихо поешь!

Женщина отъ чего-то захихикала. Порфирію стало гадко, а въ головѣ, между тѣмъ, промелькнула мысль: авось, привыкну! Поздно вечеромъ вернулся онъ домой и легъ спать. На слѣдующій день, — это было воскресенье, — онъ снова видѣлся съ Богословскими и пошелъ посмотрѣть на бывшую въ домѣ покойницу, словно желая убѣдиться, можетъ ли онъ сдѣлаться читальщикомъ. Покойница эта

была Скрипицына. Здѣсь онъ встрѣтилъ Варю, разговаривавшую съ нѣмкою. Порфирій вспомнилъ встрѣченную имъ вчера у Богословскаго женщину и не удержался отъ вмѣшательства въ дѣло, отвелъ Варю, отъ нѣмки. Этимъ онъ возобновилъ или, лучше сказать, началъ знакомство съ Варею, такъ какъ они почти забыли другъ друга въ послѣдніе два года. Оба они изъ дѣтей превратились въ молодыхъ людей: она сдѣлалась дѣвушкою, готовою идти хоть подъ вѣнецъ, у него пробивался тонкій пухъ надъ верхней губой. Изъ квартиры Скрипицыной онъ пробрался домой въ свою каморку и сталъ связывать нѣкоторыя изъ своихъ вещей. Мысль объ оставленіи родного гнѣзда не покидала его. Юность, самонадѣянность, чуткость къ обидамъ, — все вмѣстѣ толкало его отсюда, а вѣра, въ свои еще неиспытанныя, но свѣжія силы обольщала надеждой на будущее, на возможность бороться съ судьбой. Но куда идти? Все чужія, незнакомыя, непривѣтливыя лица. У Богословскихъ грязь... Что-жъ, что грязь? Надо испытать, перенести все. Узелокъ былъ связанъ. Порфирій осмотрѣлъ свою ка-

морку и вздохнулъ. Тутъ пережилось не одно горе, были и счастливые часы... Вотъ на стѣнѣ, надъ постелью, выцарапанъ какой-то стишокъ, сочиненный въ день рожденія матери самимъ Порфириемъ въ подраженіе Кольцову; вотъ комодъ съ замыкающимися ящиками, подаренный тоже матерью, здѣсь прятались отъ меньшихъ братьевъ и сестеръ любимыя книги, картинки, купленные на деньги матери, и все это связано съ ея именемъ, съ ея любовью. И вдругъ бросить ее, бросить въ воскресный вечеръ, когда она, вѣрно, сидитъ у огня и ждетъ сына! Нѣтъ, нѣтъ, это невозможно! Порфирій бросился въ комнату, гдѣ обыкновенно сидѣла, мать, и, отворивъ двери, остановился на порогѣ. Мать, спокойная, кроткая, сидѣла у огня; у ея ногъ играло двое дѣтей, третій ребенокъ спалъ на колѣняхъ.

— А я все тебя: поджидала, — проговорила она, не поворачивая головы и узнавъ сына по: походкѣ. — Я придумала, какъ устроить дѣло. Все пойдетъ хорошо.

Порфирій съ поникшей головой и опущенными глазами приблизился къ ней и остано-

вился передъ нею, спиной къ огню, такъ что она почти не могла разсмотрѣть его лица.

— У меня есть деньги, — продолжала она. — Я ихъ копила для всѣхъ васъ. Теперь я пушу ихъ въ оборотъ, открою магазинъ, стану платя шить на заказъ. Ты будешь жить и учиться на мои деньги. Вѣдь тебѣ тяжело оставить гимназію?

— Я бы и не оставилъ ее! Никогда, никогда не оставилъ бы! — вырвалось восклицаніе у сына.

— Такъ ты, вѣрно, тоже придумалъ что-нибудь, — просто замѣтила мать. — Скажи, что? Можетъ-быть, по-твоему удобнѣе сдѣлать...

Сынъ еще ниже опустилъ голову и молчалъ.

— Что же, голубчикъ? — подняла мать на сына свои глаза.

— Матушка, я уйти хотѣлъ, — опустился онъ на колѣни передъ нею и положилъ свою голову около спавшаго на ея рукахъ ребенка.

— Дитя, дитя! — проговорила мать, и въ ея глазахъ сверкнула слеза.

Наступило продолжительное молчаніе.

— А еще меня училъ, — улыбалась черезъ

нѣсколько минутъ мать. — Хорошъ учитель, бѣжать хотѣлъ! Кто же бы съ ученицей-то остался? Что бы она стала безъ тебя дѣлать?..

— Нечему мнѣ тебя учить, — прошепталъ сынъ, все еще не отнимая головы отъ колыней матери.

Воскресный вечеръ шелъ къ концу. Мать и сынъ вели серьезные разговоры. Они впервые сознавали, что они, словно по ошибкѣ, заброшены въ этотъ домъ; что она не похожа на жену, а онъ не похожъ на сына портного; что они стоятъ выше; что ихъ подняло что-то надъ этой сферой самодурства, пьянства, торгашества, черствой мѣщанской морали и мѣщанскихъ наслажденій. Они поняли, что они стоятъ не въ отношеніяхъ матери и сына, но въ отношеніяхъ брата и сестры, испытывавшихъ одно и то же общее горе, общія притѣсненія и общія радости. Они были вполне счастливы и даже не подозрѣвали, что это счастье будетъ смѣшно людямъ, что оно погибнетъ или, по крайней мѣрѣ, его будутъ стараться губить люди въ чаду своихъ глубокихъ соображеній. Вечеръ кончился. Порфирій вошелъ въ свою каморку и

осмотрѣлся, какъ будто онъ вернулся сюда послѣ десятилѣтняго отсутствія, и каждая вещь здѣсь казалась ему теперь еще милѣе, еще дороже, чѣмъ прежде; онъ впервые понялъ, что значить родное гнѣздо.

На слѣдующій день онъ зашелъ къ Ардальону.

— Вонъ ты съ Варькой всякій день раскланивался въ окно, — сказалъ онъ пріятелю:— а что бы теперь пройти въ ней, да помочь ей. Ее вонъ нѣмка къ себѣ жить сманиваетъ.

— Какая нѣмка? — спросилъ Ардальонъ.

Порфирій началъ рассказывать. Ардальонъ ничего не понималъ.

— Эхъ ты, младенчество горемычное, — промолвилъ Порфирій.

Ему щемило сердце за участь Вари; онъ думалъ, что ей такъ же горько покидать квартиру Скрипицыной, какъ было трудно ему покинуть свой уголь. Онъ не зналъ, что у Вари не было родного гнѣзда, родныхъ сердцу воспоминаній, связанныхъ съ какими-нибудь вещами, не понималъ, что она равно холодно смотрѣла на всѣхъ и готова была идти за первымъ встрѣчнымъ, если онъ возьметъ ее съ

собою.

Черезъ нѣсколько времени на стѣнѣ «большого дома» появилась пятнадцатая вывѣска съ надписью: «Моды и Платья, Modes et Robes»; вывѣска жалась къ выѣскѣ портного, но нарисованная на ней рука указывала на отдѣльную дверь, не имѣвшую, повидимому, ничего общаго съ мастерской портного; почти въ то же время въ ленныхъ владѣніяхъ Порфирій встрѣтился съ новыми жильцами, можетъ-быть, немного знакомыми и намъ.

VII

Трезоръ пробуетъ осчастливить людей и терпитъ за это непріятности

Читатель видѣлъ, что Варѣ предстояла почти неизбѣжная гибель, но въ то же время онъ могъ угадать, что кто-нибудь непременно долженъ спасти бѣдную дѣвочку, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, рассказъ долженъ бы былъ кончиться въ самомъ началѣ. Читатель, можетъ-быть, даже угадалъ и то, кто спасетъ Варю: онъ уже успѣлъ познакомиться съ ея Трезоромъ, съ жиденъкой гувернанткой. Дѣйствительно, Ольга Васильевна Суздальцева рѣшилась спасти Варю. Но какъ? Вотъ вопросъ, долго мучившій бѣдную дѣвушку. Сначала она начала строить различные планы, доказывавшіе вполнѣ, что у нея очень сильно развито воображеніе и что она довольно своеобразно понимаетъ дѣйствительную жизнь. Если бы мы сказали, что она представляла себѣ пріѣхавшаго изъ-за границы наслѣднаго принца, что она пред-

ставляла его влюбившимся въ Варю, что она представляла его бракосочетаніе съ Варей, сопровождаемое торжествомъ и ликованіемъ всего «большого дома», то все это было бы не очень далеко отъ истины и уступало бы только немного въ яркости колорита, такъ какъ у насъ въ воображеніи не могло бы найтись столь яркихъ красокъ, какія были въ воображеніи Ольги Васильевны. Но изъ подобныхъ соображеній ничего не выходило, несмотря на сладкія улыбки, вызванныя ими на лицо бѣдной, доброй, простенькой дѣвушки. Долго тѣшилась этими соображеніями Суздальцева, называя мысленно Варю «Сандрильоной» и представляя ея шествованіе къ вѣнцу; наконецъ, насталъ день, когда нужно было очистить квартиру Скрипицыной. Ольга Васильевна неожиданно, даже для себя самой, сказала Варѣ:

— Сходимъ, Варя, къ Авдотьѣ Игнатьевнѣ, но уступитъ ли она намъ комнату твоего отца.

— Сходите, Ольга Васильевна, — отвѣтила Варя. — Но чѣмъ же мы будемъ жить?

— Полно, полно, милочка! Что тебѣ объ этихъ мелочахъ заботиться. Объ этомъ и думать не стоитъ!

Къ вечеру слѣдующаго дня Ольга Васильевна и Варя перебрались къ Авдотѣ Игнатьевнѣ въ ленныя владѣнія. Это былъ первый «поступокъ» Ольги Васильевны. Вторымъ «поступкомъ» было то, что она рѣшилась давать частные уроки, чтобы существовать съ своей любимицей; третьимъ «поступкомъ» были ея занятія съ Варей «всѣми предметами науки», цѣлью этихъ занятій былъ университетскій экзаменъ, который Варя должна была когда-нибудь выдержать. Послѣ этихъ «поступковъ» Ольга Васильевна снова предалась своимъ соображеніямъ и снова мечтала о наслѣдномъ принцѣ или, по крайней мѣрѣ, о графѣ, предлагающемъ руку и сердце милой Сандрильонѣ, и стала совершенно спокойна, видя, какая блестящая будущность ждетъ ихъ всѣхъ впереди.

— Тяжело вамъ, голубчикъ, трудиться, — говорила ей Варя.

— Полно, — отвѣчала Ольга Васильевна съ сладкой и немного плутоватой улыбкой. —

Все это мелочи, все это пройдетъ. Мы теперь, какъ солдаты, на бивуакахъ живемъ. Нельзя же безъ этихъ маленькихъ непріятностей прожить. А вотъ ты подожди, что будетъ-то... Хорошо будемъ мы жить!..

Варя вѣрила.

— Иногда вы мнѣ кажетесь той волшебницей, которая однимъ движеніемъ руки обращаетъ тыкву въ богатую карету, — говорила Варя.

— А знаешь, Варя, это самое мнѣ снилось вчера во снѣ; даже Акулину Елизаровну и ты я сдѣлала такою счастливою, счастливою, — улыбалась жиденъкая гувернантка.

Нечего говорить, какъ обрадовалась Игнатъевна новымъ жильцамъ, какъ она выгнала съ позоромъ и свойственнымъ ей озлобленіемъ изъ комнаты Семена Мартыновича худо платившую за помѣщеніе жилищу, какъ маіорская дочь говорила выѣзжающей жилищѣ, что «ужь, конечно, пріятнѣе жить съ образованными людьми, чѣмъ съ какой-нибудь мѣщанкой», а Акулина Елизаровна, какъ только взглянула на Ольгу Васильевну, такъ тотчасъ же и прослезилась и прошептала:

«Награди ее, Господи, за благодѣянія!» Все это было въ порядкѣ вещей и объясненій тутъ не нужно. Началась новая жизнь въ феодальномъ государствѣ. Съ утра до вечера шли тамъ разговоры о предшествовавшихъ событіяхъ, разсужденія о будущемъ, въ комнатѣ капитанши сталъ чаще появляться Ардальонъ, прежде проводившій многіе часы у товарищей; въ комнатѣ маіорской дочери чаще раздавались французскія слова въ родѣ «драпирь» и даже если подавались хорошія булки, то маіорская дочь громогласно объявляла, что онъ настоящій «при-фиксъ». Гувернантка очень уставала отъ бѣготни на уроки, но ни разу не явилась она домой съ угрюмымъ лицомъ и при входѣ въ феодальныя владѣнія уже въ первой комнатѣ на ея губахъ появлялась ея добродушная улыбка, потому что изъ третьей комнаты уже слышался тихо напѣвающій какую-нибудь пѣсню голосокъ Вари, и молодое существо, заслышавъ скрипъ двери, бѣжало навстрѣчу къ своему вѣрному другу-Трезору.

— Не смѣйте, не смѣйте сами шляпки снимать, я васъ раздѣну, — суетилась Варя около

Трезора, развязывая ленты шляпки. — Вотъ такъ, садитесь, я все уберу.

— Да я не устала, — говорила съ улыбкой Ольга Васильевна.

— Устали! Устали! — кричала Варя, усаживая Ольгу Васильевну, прибирая ея вещи и поминутно выбѣгая въ кухню, чтобы поторопить Игнатъевну, приготавливающую чай. Молоденькая хозяйка то забывала подать себѣ чашку, то наливала сливокъ вмѣсто чаю, то вмѣсто сахара клала сухари, начинался хохоть, звонъ серебристаго молодого голоса проносился черезъ всѣ ленныя владѣнія, и ихъ обитательницы оживлялись, смѣялись, говорили: «Ай-да молодая хозяйка, хорошо хозяйничаетъ!» А Варя иногда звала ихъ, по желанію Ольги Васильевны, къ себѣ и тоже поила чаемъ. Шли безконечные разговоры, совѣщанія, призванія, и вечеръ летѣлъ быстро.

— Да вотъ скоро мнѣ безъ Ардальоши придется жить, выйдетъ онъ черезъ годъ изъ гимназіи, студентомъ будетъ, разѣдемся, — жалобно говорила Акулина Елизаровна.

— Отчего же вамъ и тогда не жить

вмѣстѣ? — удивлялась Ольга Васильевна.

— Гдѣ мнѣ, вѣдь я неблагогородная! Товарищамъ неловко будетъ къ нему ходить.

— Да почему вы считаете себя неблагогородною, вѣдь вы капитана жена?

— Да-съ, это точно, что мой мужъ капитанъ былъ, царство ему небесное, а я-то неблагогородная... Ужъ и какъ это я замужъ-то за него, моего голубчика, вышла, — сама по сию пору не знаю! — предавалась грустнымъ воспоминаніямъ капитанша. — Жили мы это съ покойницей-матушкой въ бѣдности, семья была большая, дѣти малъ-мала-меньше, вотъ я однажды по мѣщанству да по бѣдности и мою полы, — вдругъ дверь настезь, гляжу — офицеръ въ дверяхъ. Молода я была, платишко подобрано, прости Господи, мочалка въ рукахъ, — покраснѣла я. Оно, знаете, трудиться Богъ велѣлъ, а вотъ покраснѣла-таки тогда, грѣшница! «Кого вамъ?» спрашиваю офицера. — «Не здѣсь ли, говоритъ, Мухраковы живутъ?» — «Здѣсь», отвѣтила я-то. — «А вы, вѣрно, Акулина Елизаровна?» спрашиваетъ онъ. — «Да-съ,» отвѣчаю я, да платишко обдергиваю. — «Ничего, ничего, говоритъ, не

стыдитесь, трудиться не стыдно... Я это, знаете, только потому зашелъ, что вы мнѣ понравились. Хотите выйти за меня замужъ?» — Какъ онъ сказалъ это, я такъ и залилась слезами, представилось мнѣ, что онъ шутить надо мной, а вѣдь что-жъ, если бъ и пошутилъ? не барыня была! Я бѣжать, онъ за мной въ комнату... Помяни его Господи во царствіи Твоемъ! — слезливо произнесла капитанша и утерла набѣжавшую слезу.

— Ну, и что же? — любопытствовала Ольга Васильевна

— Повѣнчались, — въ раздумья отвѣтила Акулина Еязаровна.

— И счастливо вы жили, любилъ онъ васъ?

— Какъ же-съ, вѣдь онъ благородный былъ... Вотъ теперь тоже и Ардальоша благородный, пошли ему Господи счастья! А я что? — кое-какъ вѣкъ доживу...

— Такъ-то вамъ весь вѣкъ и пришлось трудиться?

— Что-жъ, мое дѣло такое, мнѣ не привыкать, вотъ дай Богъ, чтобы Ардальошъ-то не пришлось чернаго дѣла дѣлать, онъ не мнѣ

чета.

— Ну, авось еще будетъ счастливъ и васъ осчастливитъ, будете въ довольствѣ съ нимъ жить...

— Ни, ни, ни, что вы! Мнѣ ничего не надо! Да я на него изъ-за уголка смотрѣть буду, когда онъ на службу станетъ ходить. Что я срамить его, что ли, буду своимъ холопствомъ? Какая же я послѣ этого мать ему буду?

— На боковую, однако, пора, — говорила Игнатъевна, когда сумерки вечера смѣнялись полумглою лѣтней ночи. — Благодаримъ за угощенье.

— Къ заутрени завтра даль бы Господь не проспять, — крестилась Акулина Елизаровна.

— Мерси-съ, монъ анжъ, — оканчивала маіорская дочь, и всѣ тихо и мирно расходились по своимъ комнатамъ. Въ ленныхъ владѣніяхъ наступала тишина, носились какіе-нибудь запахи истребленнаго ужина, слышались звуки храпѣнья, присвиста, бой часовъ, и все это стихало все болѣе и болѣе, а въ комнатѣ Семена Мартыновича еще звучалъ едва внятный, полудремотный шопоть.

— Всѣ онъ такія добрыя, любятъ насъ, — го-

ворила Ольга Васильевна. — Хорошо намъ жить, Варя. И вотъ говорятъ, что нѣтъ хорошихъ людей... Да ты спишь, голубчикъ? Ну, спи, спи, дитя мое!.. Ди-тя мо-е... — уже сквозь сонъ шептала Ольга Васильевна и тихо засыпала.

Счастье было бы полное, если бы на землѣ, то-есть въ обществѣ, имѣющемъ свои глубокія соображенія, могло быть полное счастье. Если бы я былъ мелодраматическимъ писателемъ, то я сейчасъ бы привелъ въ квартиру Ольги Васильевны какого-нибудь яраго героя, и онъ погубилъ бы счастье моихъ героинь. — «Маниловщина! — воскликнулъ бы онъ, ероша волосы, — плѣсень старосвѣтскихъ помѣщиковъ, духота, животная жизнь и т. д.» — Услышавъ эти страшныя рѣчи, Варя начала бы ненавидѣть животную жизнь и проклинать маниловщину; Ольга Васильевна, слыша, что ее причисляютъ къ маниловцамъ, выбросилась бы съ горя въ окно; Варю потрясъ бы этотъ поступокъ, и она тоже выбросилась бы въ окно; маіорская дочь воскликнула бы: «ахъ какой пассажъ!» и упала бы въ обморокъ, читатели послѣдовали бы ея

примѣру, и сотни докторовъ получили бы по лишнимъ тремъ рублямъ за визитъ и вмѣстѣ со своими паціентами признали бы мой рассказъ за произведеніе, полное содержанія. Но, къ несчастію, я не мелодраматическій писатель, героевъ въ моемъ рассказѣ нѣтъ, а трагическія исторіи, напоминающія сказку, а оставляю въ полное владѣніе всѣмъ салоннымъ болтунамъ, разносчикамъ новостей, провозвѣстникамъ скандаловъ. Читатель, полагающій, что безъ такого содержанія не можетъ быть никакого рассказа, можетъ обратиться къ этимъ господамъ, и они его непременно утѣшатъ рассказомъ — ну, хоть про исторію какой-нибудь Даріи Ивановны или Вѣры Дмитріевны и ихъ мужей, — это будутъ непременно трагическія исторіи, полныя глубокаго содержанія, въ нихъ будутъ играть роль пистолеты, яды, ножи, невѣрность, обмороки, и будетъ отсутствовать только здравый смыслъ, но за такой бездѣлицей не стоитъ и гнаться! Я же вижу въ жизни своего рода смыслъ и занимаюсь именно имъ, потому-то даже самый скорбныя мѣста въ моей исторіи не будутъ неожиданными и явятся

вслѣдствіе извѣстныхъ причинъ. Итакъ, непріятности явились къ моимъ дюжиннымъ героинямъ не отъ появленія недюжиннаго героя, а совершенно съ другой стороны. Черезъ мѣсяцъ послѣ переселенія въ квартиру Игнатьевны двухъ дѣвушекъ къ нимъ явились неожиданныя гости. Это была тетушка Ольги Васильевны Дарья Петровна со своими тремя средними дочерьми. У тетушки было ихъ шесть и столько же сыновей; старшей дочери, родившейся во времена мучительныхъ стремленій къ благосостоянію, няньчивщей своихъ сестеръ и едва знавшей грамоту, было лѣтъ тридцать пять, младшей дочери, родившейся во времена самодовольнаго пользованія плодами долгихъ трудовъ и воспитывавшейся въ институтъ, было лѣтъ пятнадцать. Тетушка, судя по лѣтамъ ея дѣтей, была не молода, но она была толста, бойка, бодра. Она была не бѣдна, ея мужъ, статскій совѣтникъ Гребешковъ, получалъ значительное жалованье, но она не могла считаться и богатой, потому-что четырнадцати человѣкамъ нужно очень много денегъ, чтобы быть богатымъ, а если эти люди къ тому

же не могутъ уже заниматься работою по своему званію и положенію въ свѣтъ, то средства должны быть еще больше. Ольга Васильевна въ былое время воспитывала трехъ среднихъ дочерей своей тетушки, разумѣется, даромъ, — она была такъ осчастливлена, такъ осчастливлена предложеніемъ жить у родныхъ, а не наниматься въ чужой домъ, что готова была сама платить за это одолженіе, возможное только со стороны родныхъ, уже выбившихся изъ нужды, уже заботившихся не о хлѣбѣ единомъ, но еще даже и не мечтавшихъ объ институтѣ. Потомъ она постоянно получала приглашенія ѣздить къ добрымъ родственникамъ по праздникамъ и такъ цѣнила эту родственную привязанность, что постоянно возила маленькіе подарочки кузинамъ; правда, у нея у самой нерѣдко бывали худы сапожки, не было перчатокъ, но развѣ можно не дарить такихъ милыхъ, добрыхъ кузинъ; онѣ такъ любили ее! Онѣ, я думаю, даже увѣренъ въ этомъ, и принимали подарочки только для того, чтобы не обидѣть ее, такъ какъ что же значили какія-нибудь трехрублевыя брошки для людей, имѣющихъ въ

своёмъ распоряженіи три, четыре тысячи въ годъ? Появленіе неожиданныхъ гостей напомнило Ольгѣ Васильевнѣ всю ея черную неблагодарность къ нимъ: она въ тревогахъ послѣ смерти Скрипицыной ни разу не была у нихъ! Теперь это волновало ее, дремавшая совѣсть проснулась.

— Ахъ, Ольга, куда ты забралась! Мы едва дошли до тебя. Я ужъ думала, что мы заблудились. Ужасный ходъ! — говорила тетушка, цѣлуя Ольгу Васильевну, и въ ту же минуту раздалось еще три звонкихъ поцѣлуя. — Какъ жаль, что мы не могли предложить тебѣ комнату у себя, но ты знаешь, мы сами такъ стѣснены! Теперь дѣти выросли, всѣмъ нужны отдѣльныя комнаты...

— Знаю, знаю, тетя! Я бы и не рѣшилась стѣснять васъ, — сказала Ольга Васильевна, даже и не вспомнившая, что въ квартирѣ тетки было для нея мѣсто, когда кухни еще не выросли и не кончили курса ученья.

— Ты, милочка, нехорошая, недобрая, — лепетала маленькая двадцатилѣтняя кухня Жени, дѣлая такія сердитыя губки, что ихъ непременно хотѣлось расцѣловать. — Ты за-

была своихъ маленькихъ кузинъ!

— Да, да, пять воскресеній не была у насъ! — быстро проговорила другая кузина Фани, неожиданно передернувъ и выставивъ изъ-подъ открытаго лифа кругленькія плечики, которыя, казалось, говорили этимъ дѣтскимъ движеніемъ: а погляди-ка на насъ, ты на насъ только посмотри!

— По-смотри, какъ хо-рошъ, какъ идетъ ко мнѣ твой браслетъ, — меланхолически произнесла третья кузина Софи, медленно протянувъ свою обворожительную руку и, кажется, этотъ жестъ прямо говорилъ: на колѣни передъ этой рукой!

— Къ тебѣ все идетъ, душка, — поцѣловала Ольга Васильевна кузину Софи.

Она точно такъ же должна была поцѣловать и кузину Фани, кузину Жени, такъ какъ всѣ равно требовали и равно заслужили поцѣлуевъ. Въ сущности, это были не три существа, но одно, — кузина Фани говорила и дѣлала только то, что могла бы сказать и сдѣлать кузина Жени или Софи, и наоборотъ. Вся разница была въ тонѣ, и это объяснялось очень просто: у кузины Жени были

хорошенькія губки, и она надувала ихъ и говорила будирующимъ тономъ; у кузины Фани были прелестныя плечики, и она рѣзко передергивала и выставляла ихъ изъ-подъ открытаго лифа, произнося фразы дѣтскимъ тономъ; у кузины Софи была чудная рука, и кузина Софи была меланхолична, — ахъ, какъ хорошо было это задумчивое протягиванье руки впередъ, *dahin, dahin!* Говоря это, конечно, я смѣю утверждать, что это были сильные, недюжинные характеры и что для измѣненія ихъ нужна была нечеловѣческая сила, такъ какъ губки, плечики и ручки, при всѣхъ постороннихъ вліяніяхъ, оставались попрежнему прекрасными, тогда какъ какой-нибудь будто бы сильный характеръ, сложившійся подъ вліяніемъ постороннихъ обстоятельствъ, измѣняется чрезвычайно легко съ измѣненіемъ этихъ условій жизни, но плечики, губки, ручки, — о, ихъ не уничтожатъ никакіе перевороты, надъ ними сильно одно всемогущее время.

— Полноте, вы совсѣмъ заговорили Ольгу, — вступилась тетущка, слушая лепетъ дочерей. — Ну, что ты думаешь, Ольга, насчетъ

мѣста? Я прїѣхала къ тебѣ съ предложеніемъ отъ генерала Семенова...

— Ахъ, душка, душка, онъ въ одномъ домѣ съ нами живетъ, къ намъ будешь каждый день ходить, — вздернула плечики Фани.

— Его ма-лютки про-сто удивленіе! — провела въ воздухъ рукою Софи.

— Я тебя къ нимъ ревновать буду, — надула губки Жени.

— Нѣтъ, тетя, благодарю васъ, но я... — смѣшалась Ольга Васильевна, точно ее поймали въ какой-нибудь страшно! шалости.

— Право! bravo! Ты, вѣрно, нашла мѣсто? Я знала, что кухня не будетъ безъ мѣста, — весело передернулись шаловливыя плечики, — А вотъ Фани со мною спорила, что ты не найдешь мѣста до моего рожденія и что я останусь безъ маленькаго cadeau! Bravo! bravo!

— Ахъ, перестань! — перебила тетушка. — Егоза! У васъ все глупости на умѣ. Настоящія вы дѣти!

— Ничего, ничего, тетушка! Фани такъ наивна, — вступилась Ольга Васильевна, не зная, что говоритъ насчетъ своего положенія, и радуясь, что разговоръ можетъ принять

другое направленіе.

— Нѣтъ, нѣтъ, надо говорить о дѣлѣ,- настаивала тетка. Ты ихъ избаловала. Онѣ только и толкуютъ о твоихъ cadeaux. Соня до сихъ поръ носилась съ твоимъ портмоне, но — вообрази ея несчастіе, — у нея его вытащили третьяго дня у обѣдни; бѣдная чуть не захворала. Вотъ грѣхководники-то, гдѣ воруютъ, — въ храмъ Божіемъ! А вѣдь ты знаешь, что я не могу дѣтей баловать, мнѣ невозможно покупать имъ эти мелочи.

— Бѣдная кузина! — воскликнула Ольга Васильевна.

— Да, и у меня сломали твою брошку. Стали на балу салопъ снимать и сломали: теперь хотѣла отдать починить, мама говоритъ, что заплатить не можетъ, — надулись просящія поцѣлуевъ губки.

— Я заплачу, — сказала Ольга Васильевна.

— Не надо, не надо, мой другъ! Не балуй изъ, — строго замѣтила тетка. — Будь бережливѣе, душа моя, не обращай вниманія на ихъ вздохи, — повздыхаютъ и перестанутъ. Нужно же учиться переносить маленькія непріятности...

— Мама вотъ всегда такая! — роптали губки.

— Однако, мы все же не кончили разговора о мѣстѣ, — промолвила тетка. — Итакъ, ты нашла мѣсто?

— Нѣтъ, но я...

— Ну, если ты только надѣешься получить его, то лучше согласиться на предложеніе Семенова; это тѣмъ болѣе пріятное предложеніе, что мы знакомы домами и живомъ рядокъ

— О, кузина, намъ будетъ такъ отрадно, мы каждый день будемъ видѣться, говорить, мечтать, — томно провела въ воздухъ рукою «меланхолия».

— Ты меня, можетъ-быть, будешь учить на фортепьяно играть; а такъ плохо играю, — вздулись губки «недовольства».

— Душка, душка, согласись! Я съ тобой буду въ коляскѣ кататься, когда ты поѣдешь съ дѣтьми Семенова! — заегозило безпечное «ребячество».

— Добрыя мои, я не могу согласиться покуда ни на что, — воскликнула Ольга Васильевна.

— Это отчего? — воскликнули разомъ при-
мадонна и хоръ.

— У меня, вотъ видите ли...

Ольга Васильевна смѣшалась; ей на языкъ
напрашивалась сотни разъ слышанная отъ
Скрипицыной фраза: у меня есть святыя обя-
занности! И именно потому, что эту фразу за-
таскала Скрипицына, Ольга Васильевна не
могла ее произнести, и ей казались какъ-то
неподходящими эти высокія слова къ ея про-
стенькому, доброму дѣлу и къ ея столь же
простенькой особѣ.

— Что у тебя? — кричали между тѣмъ при-
мадонна и хоръ.

— Я живу здѣсь съ одной дѣвушкой, съ
бывшей пансіонеркой Скрипицыной, и не мо-
гу ее оставить.

— А-а! — многозначительно выговорила
тетушка, и шепнула:— хорошо она тебѣ пла-
титъ?

— А-а! — протянули кузины и, вытянувъ
лица, съ неудовольствіемъ отошли къ окну.

— Это та! — бысто пролепетала на ухо сест-
рамъ бойкая Фани, косясь на Варю.

— Н-да, э-то она! — вздохнула Софи, опу-

стивъ въ отчаяніи руки.

— Какое же сомнѣніе, это та самая! — надула губки Жени. Хоръ смолкъ на мгновеніе, исподлобья, издалека оглядывая врага; вдругъ онъ мгновенно отвернулся къ окну и сошелся еще ближе въ кружокъ, замѣтивъ что-то.

— У нея въ ушахъ Ольгины серьги! — дернуло сестеръ за платья «ребячество».

— А-а! А-а! — протянули сестры.

— Я надѣюсь, что ты, Ольга, все разсчитала и не отталкиваешь отъ себя предложенія по пустому капризу, — сказала тетка. — Мнѣ очень пріятно будетъ видѣть у насъ въ домѣ тебя съ твоей воспитанницей.

— Мерсі, тетя.

— Нѣтъ, теперъ маленькая кузина забудетъ своихъ бѣдныхъ кузинъ, — отозвался хоръ изъ своего добровольнаго изгнанія, и мрачный тонъ этихъ словъ дошелъ до глубины души Ольги Васильевны.

— Нѣтъ, нѣтъ, мои милыя; я васъ не забуду, никогда не забуду! — взволновалась Ольга Васильевна, и ей очень хотѣлось заплакать, но, странное дѣло, она почти не понимала во все это время, что ей говорили, и слезы навер-

тывались на глаза просто отъ какого-то нервного раздраженія.

Тетушка и кузины стали собираться домой. Жени оставила свою сломанную брошку и просила отдать ее въ починку.

— Я бы никакъ не отдала ее тебѣ для отдачи въ починку, но ты иначе не приѣдешь къ намъ, забудешь своихъ кузинъ, а это заставитъ тебя вспомнить о нихъ, приѣхать къ нимъ, — будировала она.

Кузина Фани очень, очень, совсѣмъ подѣтски, залюбовалась платочкомъ Ольги Васильевны, и когда та хотѣла подарить его Фани, то Фани обидѣлась и не хотѣла его брать; Ольга Васильевна настаивала; Фани отговаривалась, вслѣдствіе чего десять разъ повторилось съ каждой стороны:

— Ты меня обижаешь!

Послѣ двадцатаго повторенія этихъ словъ, платочекъ перешелъ въ карманъ Фани, увѣрявшей, что она беретъ его «въ залогъ» затѣмъ, чтобы отдать его Ольгѣ Васильевнѣ при первомъ ихъ свиданіи. Когда гости уѣхали, Ольга Васильевна возвратилась въ комнату, проводивъ ихъ, и сѣла на диванъ.

Варя тихо подошла къ ней и положила ей на плечи свои руки; онѣ взглянули другъ на друга и вдругъ обѣ заплакали. О чемъ? Ни та, ни другая не могла дать себѣ отчета, но ихъ грудь давилъ какой-то гнетъ, и слезы, подступавшія подъ самое горло, вылились при первомъ словѣ, а это слово было слѣдующее:

— Слава Богу, уѣхали!

Это восклицаніе вырвалось у обѣихъ дѣвушекъ. Когда волненіе поутихло, Варя взяла книгу и начала читать вслухъ. Ольга Васильевна была этому очень рада; ей, какъ и Варѣ, не хотѣлось въ этотъ день говорить. Вечеромъ, лежа въ постели, Ольга Васильевна долго не могла уснуть; въ ея головѣ вертѣлись мысли, какъ бы объяснить теткѣ всю правду и можно ли утаить отъ нея эту правду теперь, когда Ольга Васильевна не можетъ болѣе носить подарковъ кузинамъ. Будутъ ли эти кузины любить ее, и если нѣтъ, то оставятъ ли ее въ покоѣ, не будутъ ли тиранить совѣтами поступить на выгодное мѣсто и бросить Варю, и возможно ли при этихъ совѣтахъ сохранить спокойствіе и не поссориться съ кузинами и

теткой. Читатель же знаетъ, какъ страшно было слово «ссора» для Ольги Васильевны и потому не удивится, что по ея тѣлу пробѣгала дрожь при этихъ соображеніяхъ. Среди этихъ мыслей, она отъ времени до времени взглядывала на спавшую и склонившуюся головкой къ ея плечу Варю и кротко улыбалась сквозь слезы. «Дитя мое, я тебя никогда не оставлю», шептала она, и въ этой простой, нехитрой головкѣ при всѣхъ горькихъ размышленіяхъ, промелькнула тысяча печальныхъ мыслей, но не промелькнуло одной, что ей трудно дѣлать благодѣяніе, не промелькнуло даже слово «благодѣяніе». Только въ то время, когда часы капитанши усиленно прошипѣли и пробили двадцать девять, то-есть въ два часа ночи, уснула Ольга Васильевна, переставшая быть жиденъкой гувернанткой и замышлявшая громадныя планы того; какъ бы осчастливить всѣхъ окружающихъ ее людей.

VIII

Варя знакомится съ домашней Аркадіей семейства Гребешковыхъ

— Варя, завтра тебѣ надо получше одѣться: мы поѣдемъ къ тетушкѣ,- говорила Ольга Васильевна своей воспитанницѣ черезъ недѣлю послѣ визита тетушки и кузины. — Посмотри, чисты ли твои нарукавнички и воротничокъ. Тамъ празднуютъ завтра рожденіе кузины Жени; вѣроятно, гости будутъ. Ты подаришь ей и другимъ кузинамъ, какъ будто отъ себя, по парѣ перчатокъ. Я конфетъ имъ везу.

— Для чего же мнѣ дарить? Вы сами отдайте имъ подарки, — отвѣтила Варя.

— Нѣтъ, нѣтъ, такъ будетъ лучше: онѣ любить тебя будутъ. Нужно, чтобы тебя любили.

— Меня и такъ всѣ любятъ.

— Всѣ, всѣ, это я знаю! Но нужно, чтобы и у нихъ тебя любили.

Ольга Васильевна смолкла на минуту въ нерѣшимости и потомъ продолжала:

— Онѣ, знаешь, добрыя, простыя, но... какъ бы это тебѣ сказать?.. знаешь, онѣ привыкли къ подаркамъ... Ну, вѣдь онѣ дѣвушки молодыя, ихъ всѣ дарятъ, вотъ онѣ и привыкли, — совсѣмъ смѣшалась Ольга Васильевна.

— Не нравятся мнѣ онѣ,- покачала головой Варя.

— Вотъ ты какая! — торопливо перебилъ Варю Трезоръ. — Строгая! Нельзя такъ, душа моя, о людяхъ судить. Недостатки у всѣхъ есть... Варя, ей-Богу, ей Богу, онѣ добрыя, милыя...

— Сами-то вы, голубчикъ, добры, потому такъ и говорите о нихъ.

— Полно! полно! — зарумянилась Ольга Васильевна и стала торопливо рыться въ комодѣ.

Утромъ на слѣдующій день Варя и ея Трезоръ хлопотливо наряжались въ свои лучшія платья и, наконецъ, отправились въ путь. Варя не безъ робости входила первый разъ въ жизни въ чужой домъ, въ качествѣ гостыи; робость должна была быть тѣмъ сильнѣе, что этотъ домъ былъ не изъ простыхъ, не изъ бѣдныхъ, какіе дѣвочка видала до сихъ поръ.

Квартира Гребешковыхъ была большая, роскошно убранная, народу въ ней было много; всѣ какъ-то ходили изъ угла въ уголь, точно впервые любуясь на новую обстановку, точно удивляясь каждой кушеткѣ и каждому креслу. Статскій совѣтникъ Гребешковъ былъ тоже какъ будто въ гостяхъ въ своемъ жилищѣ, какъ и его жена и его дочери. Это былъ маленькій, кругленькій, сальный человѣчекъ съ рысьими глазками. Ходилъ онъ мелкими шажками, быстро передвигая толстенкія, нестибавшіяся ножки, говорилъ тоненькимъ голоскомъ, иногда отпускалъ сальныя остроты, за что собесѣдники фамиллярно похлопывали его по брюшку, а онъ зажмуривалъ, какъ котъ, свои и безъ того узенькіе неглупые глазки. Никто изъ знакомыхъ не зналъ, добрые или злые были эти глазки, такъ быстро они бѣгали, такъ часто сжимались, задерживались влагой, походившей по своему блеску на масло. Толстая, рослая его супруга звала его «папочкой», онъ звалъ ее «мамочкой». Въ должности про него говорили: «маль золотникъ, да дорогъ». Дочери въ счастливыя минуты, подхвативъ съ надеждой комплиментъ

какого-нибудь молодого челоѡка, егозили иногда около «папочки», и папочка, ухвативъ которую-нибудь изъ нихъ своими жирненькими пальчиками за подбородокъ, говаривалъ:

— Замужъ, плутовки, хотите! хе-хе-хе! Погодите, всѣхъ перевѣнчаю, всѣхъ перевѣнчаю!

— Гадкѣй, гадкѣй папка! — кричали дѣвицы.

У-у-у! — щурилъ глазки «папочка» и бодаль двумя крайними пальцами, сложенными въ видѣ роговъ, которую-нибудь изъ дочерей.

Появившись среди этой семейной Аркадіи, Варя растерялась и сунула свой подарокъ первой попавшейся изъ сестрицъ Гребешковыхъ.

— Ольга, это ты научила Варвару Семеновну! — упрекали хоромъ сестрицы Трезора.

— Нѣтъ, милыя мои, я и не знала, ей-Богу, ничего не знала! — лгала Ольга Васильевна.

— Неправда, неправда! — шумѣли кузины.

— Божусь вамъ! Я ей сказала, что сегодня рожденіе Жени, — гляжу, она куда-то скрылась и, вѣрно, въ это время она и купила ва-

мъ... Да что такое она привезла? Я и не знаю! Покажите, пожалуйста, это интересно! — глядя коварная Ольга Васильевна съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ, что Варя сочла долгомъ покраснѣть за нее.

— Посмотри, посмотри, перчатки. Всѣмъ по парѣ! — кричали кузины. — Merci, merci, mademoiselle Varbe! Вы позволите называть васъ этимъ дружескимъ именемъ? — обратились кузины въ Варѣ.

— Конечно... Мнѣ очень пріятно... — смѣшалась Варя, изумленная способностью Ольги Васильевны ко лжи и склонностью кузинъ въ дружбѣ.

— Но, душка, зачѣмъ вы тратились, вѣдь вы не такъ богаты, — заезозило мягкосердечное ребячество Фани.

— Не богата, но вѣдь у нея есть же карманная деньги, — вмѣшалась Ольга Васильевна.

— А-а! — вырвалось восклицаніе у кузинъ.

— Ольга васъ очень любитъ? — допытывалось «ребячество» по секрету у Вари.

— Да, очень... Сестра не могла бы такъ любить, — отвѣчала Варя.

— Душка! душка! у меня будетъ до васъ

просьба: попросите Ольгу давать уроки музыки сестрѣ.

— Хорошо.

— Вы думаете, она сдѣлаетъ для васъ это?

— Навѣрное.

— Она для васъ все сдѣлаетъ?

— Все.

— Ангель! ангель! — засосало Варю «ребячество» поцѣлуями.

— Не си-дите у о-кна, здѣсь очень холодно, про-студитесь, — протяжно и нѣжно произнесла «меланхолия», то-есть Софи, обращаясь къ Варѣ, и вздрогнула всѣмъ тѣломъ, чтобы показать, какъ холодно у окна.

— Нѣтъ, ничего, — отвѣтила неохотно Варя.

— Нѣ-ѣтъ, нѣтъ, тутъ дуетъ, мой другъ, — отвела Варю «меланхолия».

— Счастливица, какое миленькое колечко у васъ! — замѣтило «недовольство».

— Хотите я вамъ его подарю, — спросила Варя, дерзко взглянувъ на «недовольство»...

— Ахъ, что вы! — обидѣлась Жени.

— На память о первомъ днѣ нашей дружбы, — еще болѣе раздражительно настаивала

Варя.

— Ну, ты ужъ не можешь отказаться въ этомъ случаѣ! — воскликнуло «ребячество».

— Но... Ольга разсердится на васъ...

— Ольга Васильевна ни за что не сердится на меня.

— Я, право, такъ неловко поступила, — сердилось на себя «недовольство».

— Берите! — презрительно воскликнула Варя и снова, какъ въ былые дни, подумала: «я лучше ихъ!»

— Что? попалась, попалась? — дразнило, «ребячество» сестру Жени.

Жени, молча, съ надутыми губками разсматривала кольцо и думала про Варю, что Варя скверная дѣвчонка.

— Вы видѣли нашихъ братьевъ? — спросили сестры.

— Нѣтъ.

— Душка, это красавцы! Пойдемте къ нимъ въ комнату, мы вамъ покажемъ ихъ портреты.

— Но какъ же... въ ихъ комнату? — смутилась Варя.

— Ихъ дома нѣтъ, дома нѣтъ, пойдемте!

Всѣ четыре сестры вспорхнули и увлекли Варю въ комнату братьевъ. Началось показыванье портретовъ, чернильницъ, прессъ-папье, книгъ, которыя дѣвушкамъ нельзя читать и которыхъ сестры, по ихъ словамъ, не читали. Толпа бродила по комнатѣ, какъ бродятъ зѣваки по разнымъ выставкамъ. Сестра Жени взяла въ ротъ трубку и вздрогнула отъ своей невинной шалости, прибавивъ съ отвращеніемъ:

— Говорятъ, инья женщины курятъ! Пфа-а! — потрясла она головой и при этомъ разсыпала себѣ на лицо своя чудныя кудри, что заставило ее отбросить ихъ назадъ быстрымъ движеніемъ руки, и въ эту минуту ея запылавшее лицо сдѣлалось очаровательнымъ. — Это дурныя женщины. — продолжала она въ раздумьи:— падшія...

— Наша хозяйка курить! она хорошая, — замѣтила Варя.

— Фи-и! — протянула очаровательная дѣвочка, едва успѣвшая смѣнить коротенькое платьице, на длинное.

— Братъ! — вдругъ раздался убійственно пугливый крикъ, и Варя увидѣла позади се-

бя какого-то молодого франта. Начались извиненія, рекомендаціи, замѣшательство и бѣгство четырехъ сестеръ, увлекшихъ за собою и Варю.

Къ обѣду пріѣхали еще двѣ дѣвицы со своими матерями, и возвратились изъ должности еще два брата Гребешковы, одѣтые въ одинаковые виць-мундиры, причесанные по одной и той же модной картинкѣ, носившіе совершенно одинаковые галстуки, смѣявшіеся одинаково громкимъ смѣхомъ однѣмъ и тѣмъ же островамъ. Они и ихъ третій братъ, уже познакомившійся съ Варей, бросали на нее многозначительные взгляды, и всѣ поспѣшили подать ей солонки, когда ей понадобилась соль, и всѣ вдругъ отдернули эти солонки, когда она хотѣла взять изъ нихъ соль.

— Поссоримся! — вдругъ засмѣялись три брата своей выдумкѣ и снова подвинули солонки.

Острота вызвала всеобщій смѣхъ; не смѣялась одна Варя къ великому удивленію всѣхъ. Эта острота дала, между прочимъ, поводъ проговорить до конца обѣда сперва о то-

мъ, что слѣдуетъ ли бояться ссоры при передачѣ соли, а потомъ о предразсудкахъ вообще, и бывали ли примѣры, оправдывающіе существованіе этихъ предразсудковъ. Кончился обѣдъ разговоромъ барыни о страшномъ, страшномъ привидѣніи, подошедшемъ къ ея постели и ужасно сопѣвшемъ въ темнотѣ; всѣ испугались, у всѣхъ захватило духъ, — наконецъ, барыня объявила, что это ея лакей напился пьянъ и забрелъ въ ея спальню... Всѣ вздохнули свободнѣе, а одна изъ самыхъ невинныхъ дѣвицъ потушила глазки.

— А гдѣ же кузина Даша? — спросила Ольга Васильевна во время десерта и тотчасъ же покраснѣла за себя, чувствуя, что она сдѣлала непростительную глупость. Гости посмотрѣли на Ольгу Васильевну съ такимъ изумленіемъ, какъ будто она спросила объ отсутствіи какого-то миѳическаго существа.

— Нездорова, — небрежно отвѣтила тетушка и спросила у Ольги Васильевны, давно ли она сшила себѣ это миленькое платьѣ, надѣтое на ней.

Кузины торопливо завязали разговоръ съ Варей о томъ, что съ военными ловчѣе тан-

цовать, чѣмъ со статскими, и вопросъ о миѳической кузинѣ Дашѣ исчезъ безслѣдно среди этихъ болѣе достойныхъ вниманія жизненныхъ вопросовъ.

Послѣ обѣда, одной изъ дѣвицъ, бывшихъ въ гостяхъ у Гребешковыхъ, понадобилось поправить что-то изъ туалета, и всѣ дѣвицы отправились въ комнату сестеръ Гребешковыхъ. Вообще, эта толпа юныхъ грацій цѣлый день порхала съ мѣста на мѣсто и представляла что-то подобное перелетнымъ птицамъ. Въ святилищѣ дѣвической спальни начались новыя показыванья разныхъ нарядовъ, зазвучали разныя жалобы и выраженія разныхъ тайныхъ желаній и надеждъ. Тоненькіе голоса ввучали такъ звонко и быстро, что Варя едва ловила мысли и различала слова.

— Чего пришли сюда хвосты-то трепать, мало въ другихъ комнатахъ мѣста, что ли? Шмыгаете изъ комнаты въ комнату, какъ угорѣлыя! — раздался, трубый, похожій на мужской басъ, голосъ среди тоненькаго писка сестеръ.

Варя обернулась и увидала топорную, толстую фигуру немолодой дѣвушки; съ грубымъ

лоснящимся лицомъ, рабочими руками и злыми глазами, смотрѣвшими твердо и прямо. Она была одѣта безъ вкуса, но съ претензіями на моду.

— Дурища необразованная! — прошептала одна изъ сестеръ съ презрѣніемъ.

— Не говорите съ ней!.. Не обращайтесь на нее вниманія!.. Это Дашка! — прошептали Варѣ другія сестры.

— Хотя бы обѣдъ-то прислали, — злобно заговорила сестра Дарья:— а то и обѣдковъ-то не оставите, слопали все со своею сволочью!

— Уйдемте, уйдемте, душа моя! — воскликнула одна изъ сестеръ. — Она у насъ сумасшедшая.

Варя взглянула со страхомъ на сестру Дарью; та не походила на сумасшедшую, но въ ея лицѣ выражалась злоба и грубость. Всѣ двѣицы двинулись изъ комнаты, но двигалась одна Вара.

— Что, небось, языки-то прикусили; правда-то, видно, не свой братъ, глаза колетъ! — крикнула сестра Дарья.

— Мы тамап пожалуемся на тебя, дура! — отвѣтили ей сестры на ходу.

— Дура! дура! только отъ васъ и слышишь! Пожалуемся! А кто няньчиль-то васъ? Грязь-то за вами кто прибираль? Горничныхъ-то тогда не было. Сами рады были за деньги по-лы мыть! На свою голову васъ выняньчила! Точно что дура! Утопить бы васъ въ грязи-то слѣдовало. Матери пожалуетесь! Да вы и ей-то голову вскружили, ошалѣла она съ вами-то...

— Замужъ не вышла, такъ я бѣсишься! — отвѣтили ей дѣвицы Гребешковы съ порога комнаты.

— Да, замужъ не вышла! Сами выйдите! А изъ-за кого я-то въ дѣвкахъ сижу? — грызлась сестра Дарья, швыряя по комнатѣ разныя вещи, разбросанныя сестрами. — Ту обмой, другую въ пансіонъ отведи, третьей платишко почини, — выйдешь тутъ замужъ, держи карманъ! И дура была, что не плюнула на васъ. Думала, вотъ сестры вырастутъ, мнѣ легче будетъ, — ну, ужъ и выросли, нечего сказать! Ишь, дылды какія! — лился необузданный дикій потокъ рѣчей сестры Дарьи.

— Уйдемте! что съ вами? что вы стали? — вернулась не безъ досады одна изъ сестеръ за

Варей.

Та все еще задумчиво стояла у стола съ наклоненной головой и безсознательно перелистывала какую-то книгу, не видя страницъ.

— А! — вздрогнула она, словно очнувшись отъ тяжелаго сна, и съ отвращеніемъ отдернула руку, до которой дотронулась дѣвица Гребешкова.

— Пойдемте

— Иду, — съ разстановкой отвѣтила Варя и тряхнула головой.

— Я себѣ хочу сдѣлать платье къ первому зимнему балу, — залепетала кузина Фани, съ быстротою дѣтства оправившаяся отъ непріятнаго столкновенія съ необразованной сестрой Дарьей. — Изъ бѣлаго тюля сдѣлаю, съ буфами, вотъ до сихъ поръ все буфы велю нашить, и въ буфы хочу продернуть голубыя ленты, во всякую буфу по лентѣ. У меня бѣлокурые волосы...

— Рыжіе, — замѣтила Жени, еще не успокоившая своего раздраженія.

— Бѣлокурые волосы... — продолжала Фани.

— Рыжіе, — снова остановила Жени.

— Ты думаешь, что ты все еще съ Дашкой говоришь!? — крикнуло разсерженное «ребячество», чисто по-дѣтски, топнувъ ножкой, и проговорило скороговоркой:— У меня бѣлокурые волосы, и ко мнѣ голубое идетъ. Неправда ли, ко мнѣ вѣдь идетъ голубое?..

— Идетъ, — медленно отвѣтила Варя, все еще погруженная въ раздумье.

— Что съ вами, душка? — изумилось «ребячество».

— Вы всегда съ ней такъ обращаетесь? — рѣзко спросила Варя и глянула прямо въ глаза «ребячеству».

— Тс... тс!.. Дикобразовъ! Дикобразовъ здѣсь! — воскликнули сестры, не отвѣтивъ на вопросъ Вари, и стали оправляться, входя въ гостиную.

Какъ цвѣты сверкаютъ весною при появленіи солнца, такъ сверкали теперь улыбками эти милыя дѣвическія лица — и Богъ знаетъ, которое изъ нихъ въ эту минуту было прелестнѣе и больше напоминало о веснѣ, о блескѣ молодости и радостяхъ любви!

Къ нимъ лѣнивое, медленной походкой

подошелъ юноша лѣтъ двадцати-четырехъ, съ нѣжнымъ и прекраснымъ лицомъ, и небрежно кивнулъ имъ головой.

— Поздравляю васъ, — обратился онъ къ Софи.

— Вы ошибаетесь: это не ея рожденъе сегодня, а мое, — съ яркимъ румянцемъ на щекахъ улыбнулась Жени и потупила глаза; ея голосъ звучалъ мелодическими звуками наивнаго упрека.

— Да-а? виновать! Но вы, кажется, всѣ родились въ одинъ день, — насмѣшливо отвѣтилъ юноша.

— Это было бы очень выгодно для Софи, но не для меня, — замѣтило «ребячество».

— Для васъ это тоже выгодно: вы можете быть увѣрены, что черезъ десять лѣтъ вы такъ же мало измѣнитесь, какъ Софья Дмитриевна, — уже совсѣмъ лѣнливо и съ трудомъ кончилъ юноша.

— Вы все шутите!

— Вѣдь и вы тѣмъ же занимаетесь.

— Вы злы.

— Ну, вотъ для этого вы слишкомъ невинны! Правда? вѣдь вы для этого слишкомъ

невинны? — засмѣялся дѣланнымъ, оскорбительнымъ смѣхомъ юноша.

Онъ зѣвнулъ, откинулъ назадъ волосы, повернулся и опустился въ кресло спиною къ дѣвицамъ. Около него вертѣлись братья Гребешковы.

— Гребешки, вы мнѣ сегодня надоѣли! — промолвилъ онъ, зѣвая.

Братья Гребешковы ослабились при этихъ словахъ и рассыпались отъ кресла, гдѣ сидѣлъ юноша. Варя смотрѣла съ нѣмымъ изумленіемъ на это прекрасное лицо, на эти нахальные манеры и старанье юноши выказать утомленье.

Между матушками барышень шелъ въ это время очень интересный и оживленный разговоръ. Мать одной изъ дѣвицъ, находившейся въ гостяхъ, восхищалась красотою сестеръ Гребешковыхъ, а мать Гребешковыхъ восхищалась красотою дочери этой любезной гостьи.

— Какъ мила Софья Дмитриевна! — восхищалась гостья. — Что за цвѣтъ лица, какіе волосы!

— Нѣтъ, вы попросите ее сыграть что-ни-

будь, сыграть попросите! Она новый вальсъ разучила, — шептала съ чисто материнскимъ лукавствомъ хозяйка.

— Душечка, Софья Дмитриевна, присядьте-ка къ фортепьяно, дайте намъ насладиться вашей игрой, — обратилась гостя къ Софи, и ея голосъ былъ такъ сладокъ, такъ сладокъ, что могъ усладить всѣ горечи жизни.

— Ахъ, я ничего не играю, — съ разстановкой возразила «меланхолия».

— Неправда, неправда, играетъ! — заговорила мать плутоватымъ тономъ.

— Ну, та-ман, та-ман! — умоляющимъ тономъ возразила снова «меланхолия».

— Разумѣется, играешь. Зачѣмъ церемониться? Тутъ все свои... Надѣюсь, что вы не осудите, — обратилась Гребешкова въ юношѣ; но онъ такъ занялся разсматриваньемъ своихъ ногтей, что и не замѣтилъ ни этого вопроса, ни того, что и его причислили къ своимъ.

Софи сѣла за фортепьяно, еще разъ отказалась играть, попробовала привстать, еще разъ выслушала просьбу своей матери и матери своей подруги и заиграла.

— Софи плохо играетъ, — замѣтила Варѣ Жени, поддавшаяся, по обыкновенію, своему вѣчному чувству недовольства, и надула губки.

— А вы лучше играете? — спросила Варя съ замѣтнымъ раздраженіемъ въ голосъ.

— То-есть... да... немного, — отвѣтила застѣнчиво Жени.

— Что же вы играете, тоже польки, вальсы? — спросила Варя съ пренебреженіемъ.

— О, да!

— Лучше бы ничего не играть.

— Совершенная правда, — черезъ плечо повернулъ голову юноша къ Варѣ, сидѣвшей за нимъ, и вдругъ какъ будто окаменѣлъ въ этомъ положеніи, раскрывъ широко глаза, точно передъ нимъ было какое-то видѣніе. Прошло нѣсколько секундъ. Вдругъ по его лицу скользнула насмѣшливая улыбка.

— А вы какъ играете? — нахально спросилъ онъ.

— Довольно плохо, — отвѣтила Варя, прямо и открыто взглянувъ ему въ лицо:— но моя добрая Ольга Васильевна хорошо понимаетъ.

— Довольно плохо, — съ разстановкой по-

вторила юноша:— то-есть лучше или хуже Софьи Дмитриевны? — еще нахальнѣе спросилъ онъ.

— Лучше, — отвѣтила еще рѣзче Варя.

— Вы... — началъ онъ и вдругъ обратился къ Жени, вставъ съ мѣста. — Евгенія Ивановна, познакомьте насъ.

Жени назвала фамиліи и имена Вари и Дикобразова.

— Вы сыграете что-нибудь? — спросилъ онъ.

— Пожалуй, но я давно не играла, съ тѣхъ поръ, какъ умерла mademoiselle Скрипицына... У насъ нѣтъ фортепяно.

— А, вы у Скрипицыной воспитывались.

— Да...

Завязался разговоръ. Варя говорила откровенно, просто и весело. Два-три раза она рѣзко возразила сестрицамъ Гребешковымъ, и въ тонъ ея возраженій послышалось презрѣнне къ нимъ. Можно было угадать, что Варя мысленно уже поставила себя неизмѣримо выше ихъ. Ни малѣйшей черты изъ ея манеръ, рѣчей и оттѣнковъ голоса не ускользнуло отъ Дикобразова. Тонкое чутье,

приобрѣтенное въ теченіе пяти лѣтъ самостоятельной жизни въ свѣтъ, заставляло его очень часто сразу угадывать людей. Во время всего разговора съ Варей онъ успѣвалъ отвѣчать ей и въ то же время не упускать изъ виду ея лица и мысленно дѣлать замѣчанія на ея рѣчи. «Свѣжа! Не ломается! Презираетъ ихъ. Славная дѣвочка, какъ она попала къ этой дряни?» мелькало въ головѣ Дикобразова, и самъ онъ дѣлался все проще и проще; нахальное выраженье, искусственная апатія, стремленіе острить, иногда очень неудачно, вся зга фальшь, появлявшаяся изъ желанія юноши показать, что онъ не въ своемъ кругу, что онъ презираетъ этихъ людей, все это исчезло, и видно было, что тутъ говоритъ человѣкъ съ человѣкомъ.

— А вы еще хотѣли сыграть что-нибудь, — напомнить Дикобразовъ, окончивъ разговоръ.

Варя покраснѣла, но не трогалась съ мѣста.

— Что же вы не хотите играть?

— Нѣтъ... но мнѣ все кажется, что это экзамень... Вѣдь mademoiselle Скрипицына всегда путала насъ вашимъ пріѣздомъ на экза-

мень, — засмѣялась Варя своимъ дѣтскимъ смѣхомъ.

— Ха-ха-ха! — засмѣялся такъ же откровенно Дикобразовъ, и вдругъ его лицо просвѣтлѣло и сдѣлалось невыразимо привлекательнымъ.

У него, какъ у всѣхъ молодыхъ Дикобразовыхъ, былъ свѣжій цвѣтъ лица и на двадцать четвертомъ году едва пробивался пушокъ на губахъ, только около ушей на розовыхъ щекахъ были мелкіе, шелковистые темнорусые волосы, совершенно особенно оттѣнявшіе матовую нѣжную кожу. Когда онъ оставался спокойнымъ и естественнымъ, какъ въ эту минуту, тогда его глаза блестѣли ровнымъ, гордымъ и отчасти холоднымъ свѣтомъ; очертанія свѣжихъ губъ были правильны и красивы. Кому приходилось вставать рано и встрѣчать первыя минуты весенняго дня, тотъ знаетъ, что такое значить свѣжесть, почти холодъ весенняго утра, — пыль прибита къ землѣ, въ воздухѣ нѣтъ движенья, крутомъ все блеститъ, каждое окно, каждая травка еще покрыта влагой, между тѣмъ въ воздухѣ свѣжо, самый блескъ еще влажныхъ цвѣтовъ

какъ-то холодень и, можетъ-быть, тѣмъ болѣе привлекателенъ, тѣмъ дольше хотѣлось бы продлить эти минуты и отсрочить наступленіе знойнаго, пыльнаго, удушливаго полдня. Этотъ холодъ утра напоминало лицо юноши. Явись онъ въ свѣтъ съ этимъ лицомъ въ одеждѣ савояра — и онъ обратилъ бы на себя вниманіе, пробилъ бы себѣ молодыми ногами дорогу въ жизнь, — какую? — не спрашивайте объ этомъ?

— Чтобы не казаться экзаменаторомъ, я буду вашимъ пажомъ и стану перевертывать листы нотъ, — улыбнулся онъ.

Варя, смѣясь, подошла въ фортепяно; она уже не чувствовала робости и заиграла одну не очень трудную, но серьезную пьесу. Играла она съ толкомъ.

— Поняли, Гребешки? — обратился Дикобразовъ, когда она кончила, къ братьямъ Гребешковымъ, столпившимся около фортепяно.

— Отлично-съ! — разомъ воскликнули братья и осклабились одинаковыми улыбками.

— Что отлично?

— Играютъ-съ, — ухмыльнулись братья.

— Ну, и прекрасно! Ступайте теперь, Гребешки, занимать барышень, — промолвилъ Дикобразовъ, подвинувъ себѣ ногою стулъ. Братья поспѣшили помочь ему въ дѣлѣ подвиганья стула и отошли съ тѣми же одинаковыми улыбкама къ дѣвицамъ.

— Такъ у васъ нѣтъ фортепяно? — задумчиво спросилъ Дикобразовъ. — А это, право, жаль; вы были бы хорошей музыкантшей... Отчего вы не купите?

— Мы очень не богаты.

Дикобразовъ помолчалъ.

— Хотите, моя мать подаритъ вамъ фортепяно? — спросилъ онъ неожиданно.

— Я... я никогда не просила милостыни, — еще неожиданно отвѣтила Варя и, дрожа всѣмъ тѣломъ, хотѣла приподняться со стула.

Дикобразовъ тихо удержалъ ее.

— Не сердитесь, — искренно произнесъ онъ, глядя на ея поблѣднѣвшее личико. — Я пошутилъ.

— Такъ не шутятъ, — прошептала Варя.

— Здѣсь-то? — вдругъ насмѣшливо спросилъ Дикобразовъ: — Вы думаете, что каждый порознь и всѣ вмѣстѣ изъ этихъ Гребешковыхъ,

Сусликовыхъ, какъ ихъ тамъ еще зовутъ! — не бросились бы, если бы я швырнулъ имъ свою старую перчатку?

— Но я...

— Вы не они? Это вы хотѣли сказать? Да? А знаете и пословицу: *dis moi qui tu hante...* Вѣрная пословица!

— Вы ихъ тоже не любите? — наивно спросида Варя.

— Ха-ха-ха! — засмѣялся юноша неестественнымъ смѣхомъ. — Знаете ли вы, что одинъ изъ этихъ Гребешковъ попалъ въ нашъ домъ въ годы моего дѣтства, чтобы стоять въ углу, когда я не зналъ уроковъ? Сегодня онъ такъ причесался, какъ былъ причесанъ я вчера. Завтра онъ причешется такъ, какъ я причесался сегодня. Онъ думаетъ, что въ этой прическѣ, въ этомъ узлѣ галстука все. Онъ старается забыть, можетъ-быть, и не понимаетъ, — вѣдь онъ глупъ, — что если онъ стаивалъ въ углу за меня, то я никогда не пошевельнулся бы за него съ мѣста... Вонъ барышники ходятъ за мною, ихъ папаша услуживаетъ мнѣ. Вы думаете, что они считаютъ меня женихомъ? Боже сохрани! Я просто сынъ на-

чальника, важнаго лица, они говорятъ въ канцеляріи: у насъ вчера Дикобразовъ былъ... Добровольные холопы. Некому кланяться, такъ надо создать барина!..

— Зачѣмъ вы къ нимъ ходите? — тихо спросила Вара, только наполовину понявшая не то дѣтскую, не то серьезную вспышку собесѣдника.

— Это длинная исторія, долго рассказывать, — отвѣтилъ онъ.

Они помолчали.

— Теперь мнѣ будетъ пріятно встрѣчаться здѣсь съ вами, — шепнулъ онъ самымъ дружескимъ и почти дѣтски-веселымъ откровеннымъ голосомъ.

Варя вся зарумянилась.

Въ это мгновеніе подбѣжали дѣвицы Гребешковы, замѣтивъ, что Дикобразовъ поднимается со своего мѣста; изливаясь въ похвалу насчетъ игры Вари, онъ столпились около смущенной дѣвушки. Лицо Дикобразова приняло прежнее непріятное, дѣланное выраженіе презрѣнья. Онъ всталъ и лѣниво протянулъ руку Варѣ.

— До свиданья! — промолвилъ онъ и сталъ

откланиваться.

Начались упрашиванія остаться, пискъ и хихиканье, маленькіе застѣнчивые упреки и невинныя колкости раздраженныхъ Грацій, покидаемыхъ Аполлономъ.

Варя тоже встала и предложила Ольгѣ Васильевнѣ ѣхать домой.

— Вѣдь вамъ не по дорогѣ; онъ въ своей каретѣ уѣхаль, — ѣдко улыбнулась вѣчно недовольная Жени и надула губки.

— Если бы и на извозчичьей лошади, то мы не побѣжали бы за нимъ, — сухо отвѣтила Варя.

— Вы обижаетесь пустяками, — замѣтила Жени.

— Я не люблю пустяковъ.

— Это и замѣтно, играете Шопена!

Варя пожалала плечами.

— Вы всегда такъ начинаете и такъ кончаете знакомства? — спросила она.

— Ахъ, Боже мой! кто же знаетъ людей, при первой встрѣчѣ съ ними! — воскликнула Жени.

— А я васъ узнала при первой встрѣчѣ.

Другія сестры подбѣжали къ двумъ

раскраснѣвшимся дѣвушкамъ и начали уговаривать Варю остаться, стали просить ее оказать имъ какія-то маленькія услуги: купить шелку для вышиванья, вышить платочекъ, сшить манишечку. Варя съ насмѣшливой улыбкой и злымъ смѣхомъ обѣщала исполнить всѣ просьбы и замѣтила съ улыбкой:

— А Жени ничего не нужно — она отошла прочь.

— Ахъ, она капризная, играть не умѣетъ, а туда же суется судить о другихъ... Она въ него влюблена... Думаетъ сдѣлаться... Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!

— Прощайте, прощайте!

— Не забывайте насъ, милочка!

Пріѣзжайте, намъ будетъ весело!

Ольга Васильевна и Варя уѣхали, и долго въ ихъ ушахъ раздавался пискъ перелетныхъ птичекъ-сестрицъ.

Позднимъ вечеромъ въ спальнѣ сестрицъ Гребешковыхъ, когда уѣхали гости, раздавались странные разговоры — щебетанья. Всѣ сестры говорили вмѣстѣ, и трудно бы догадаться, которой изъ нихъ принадлежала та

или другая фраза.

— Перчатки дарить отъ себя, точно мы не знаемъ, что это Ольга купила! И что Ольга ей поддалась? — раздавала въ спальнѣ.

— Я просила ее, чтобы она сказала Ольгѣ объ урокахъ музыки.

— Нужно попросить ее, чтобы она сказала Ольгѣ, мнѣ мало двухъ уроковъ въ недѣлю.

— Говори сама.

— А ты не можешь?

— Не хочу!

— Трудно?

— Да, трудно! Кланяться дряни не хочу!!

— А кольцо отъ нея взяла!

— Ну, да, взяла, взяла! Завистница!

— Злючка!

— Молчи!

Въ комнатѣ слышались чьи-то рыданья.

— Плачь, плачь со злости!

— Тише, тише, mesdames!

— Будетъ ли смерть-то на васъ, колотырки поганья!

— Колотырки! Слышите, mesdames. C'est bien drôle.

— Parlons français.

— Чего по птичьи-то затрещали? Пропасти на васъ нѣтъ. День-деньской-то не набѣгаетесь, языковъ-то не отколотите! Тьфу, ты! Одурь съ нами возьметъ.

— Молчи, дурища безграмотная! —
Mesdames à l'ordre!

— Что ты командуешь?!

Долго еще продолжалась перестрѣлка; наконецъ, птички почувствовали утомленье, и мирный сонъ воцарился въ домашней Аркадіи семейства Гребешковыхъ.

Если дѣвицы Гребешковы долго не могли уснуть к этотъ вечеръ, то еще дольше не могла заснуть Варя. Сотни мыслей осаждали ее, и среди нихъ тысячу разъ мечтала она о красавцѣ-юношѣ, видѣнномъ ею въ этотъ день. Никогда еще въ жизни она не встрѣчала такого прекраснаго лица, такой цвѣтущей и нѣжной молодости. Снился онъ ей и во снѣ, когда она задремала съ слабой улыбкой на губахъ. На слѣдующій день она ходила въ какомъ-то чаду, о чемъ-то мечтала...

ІХ

Недолгій праздникъ юношескихъ дней

Хорошо зная Ольгу Васильевну, не трудно догадаться, что она не была сильна по части математики. Вообще всѣ люди, умѣющіе создавать такіе великіе планы, какіе создавала она насчетъ будущности Вари, приходятъ въ затрудненіе, если имъ нужно рѣшить какую-нибудь болѣе сложную задачу, чѣмъ помноженіе двухъ на два. Очень естественно, что она, сознавая въ себѣ этотъ недостатокъ, рѣшилась найти кого-нибудь другого, кто преподавалъ бы Варѣ ариѳметику. Подъ рукой былъ Ардальонъ, но при первомъ же урокѣ и онъ оказался несостоятельнымъ въ этомъ дѣлѣ. Онъ былъ все тѣмъ же Ардальошей, котораго мы видѣли однажды мечтавшимъ надъ волшебною книгою, но хуже Ольги Васильевны. Онъ былъ первымъ ученикомъ по гимназіи въ дѣлѣ описаній весны, зимы и другихъ временъ года, служившихъ темою для гимназическихъ сочиненій; онъ

писалъ сочиненія даже для другихъ учениковъ, иногда рисковалъ сочинить описаніе «Кавказскихъ горъ» или «Поѣздки за границу», но именно поэтому и былъ плохимъ счетчикомъ и еще болѣе плохимъ объяснителемъ математики. Пришлось искать другого учителя. Учителя были дороги, а требовался дешевый. Въ ленныхъ владѣніяхъ нерѣдко появлялся Порфирій Приснухинъ, и его-то пригласили быть преподавателемъ Вари. Это была чисто для математики созданная голова. Сначала Порфирій, окончивъ урокъ, тотчасъ же брался за фуражку; потомъ его стали приглашать выпить чаю; еще черезъ нѣсколько времени въ ленныхъ владѣніяхъ стали говорить: «Что это, Порфирія Александровича нѣтъ? безъ него и веселья нѣтъ!» Но ужъ зато при Порфиріи Александровичѣ дымъ шелъ коромысломъ! Одинъ разъ дѣло дошло до того, что онъ, Варя, Ардальонъ и сама Ольга Васильевна танцовали безъ музыки. Съ его приходомъ въ ленныя владѣнія врывалась жизнь, жизнь въ полномъ смыслѣ этого слова, — молодая, бодрая, веселая, не звучащая ни одною вялою и ноющею ноткою плак-

сивой жалобы. Ленныя владѣнія, въ лицѣ своихъ обитательницъ, сознавали всю прелесть этой жизни, но не удивляться передъ ея появленіемъ не могли. Акулина Елизаровна, нахохотавшись до слезъ своимъ дребезжащимъ голосомъ надъ выдумками Порфирія, вздыхала сильнѣе прежняго, оставшись наединѣ съ своею скорбною и нагоняющею тоску особою, и шептала: «Господи, прости мое согрѣшеніе! Ужъ передъ добромъ ли я это развеселилась? За смѣхомъ-то слезы идутъ, какъ говорится». Размышленія шли дальше и дальше; тоска и боязнь передъ будущимъ росли и грызли слабодушную капитаншу, а тамъ лились и слезы... Маіорская дочь, ложась въ постель, думала: «Ужъ очень много мы хохочемъ, неприлично это, точно у мужиковъ въ обществѣ, такой мове-тонъ». Маіорская дочь начинала соображать, что нѣтъ нынче общества, гдѣ бы велись умные и глубокомысленные разговоры о деликатныхъ предметахъ, и скорбно вздыхала. Слабая здоровьемъ Ольга Васильевна отъ долгаго смѣха чувствовала маленькую боль въ груди или, по крайней мѣрѣ, боялась, что у нея будетъ эта боль. Варя

завидовала веселому характеру Порфирія и съ горечью говорила: «Отчего я не такая веселая? отчего мнѣ иногда плакать безъ причины хочется? отчего, если я и пѣсню пою, то мнѣ не веселѣй, а больнѣй становится? Завистливая я!» Ардальонъ, — тотъ дѣлался совсѣмъ хмурымъ, отправляясь спать, и отрывисто бормоталъ: «Только и знаетъ, что смѣяться! Волосы давеча мнѣ растрепаль!» Воспоминаніе о растрепанныхъ волосахъ отнимало почти полчаса у сна юноши. А на другой день надломанные жизнью люди снова сходились вмѣстѣ, вздыхали, охали, жаловались, серьезничали и къ концу вечера съ сожалѣніемъ произносили: «А вотъ безъ Порфирія-то Александровича и молодежь наша не весела». Молодежь безмолвствовала и мысленно сознавалась, что въ этотъ вечеръ она переговорила объ очень умныхъ вещахъ, можетъ-быть, набрела даже на новыя для нея мысли; но не была молода, не смотрѣла бодро: какой-то гнетъ скорби, недовольства, безсилія, завѣщанный ей въ наслѣдство отцами и дѣдами, лежалъ на ея плечахъ и гнулъ ее къ землѣ... Варя ясно сознавала это и нача-

ла цѣнить своего учителя за его способность развеселять людей, но она, все-таки, оставила за собой право говорить про него, когда ей дѣлалось очень скучно, что «вѣчно смѣяться нельзя, однимъ смѣхомъ не проживешь, иногда смѣхъ и надоѣсть». Среди этихъ глубокихъ соображеній, какой-то тайный, едва слышный голосъ шепталъ Варѣ: «А ты спросила бы его, можетъ-быть, онъ не только смѣяться умѣетъ, можетъ-быть, онъ и горе переносить можетъ. Ты что-то слышала у Скрипицыной про его жизнь... И вспомни, какъ онъ поспѣшилъ отвести тебя отъ нѣмки...» Варя сердито заглушала этотъ голосъ и рассуждала съ презрительной улыбкой: «Что и Ардальонъ спасъ бы ее отъ нѣмки, если бы онъ былъ въ то время въ квартирѣ Скрипицыной...» Полно, такъ ли, Варя?

Несмотря на все это, веселый учитель привлекалъ къ себѣ все болѣе и болѣе сердца бѣдныхъ жильцовъ. Какая-то неисчерпаемая веселость была въ это время во всемъ его существѣ; бодрый, живой, онъ не могъ сидѣть на мѣстѣ, ему хотѣлось двигаться, пѣть, танцовать, и болѣе всего хотѣлось

изобрѣсти какую-то общую работу, общую жизнь. Иногда ему казалось, что онъ раздвинулъ бы широко, широко стѣны этого бѣднаго жилища, привелъ бы въ него и свою мать, и ея ученицъ-швей и засадилъ бы ихъ всѣхъ, и Варю, и Акулину Елизаровну, и Игнатъевну за одну работу, заставилъ бы тутъ же Ардальона учить своихъ маленькихъ братьевъ и другихъ дѣтей, читалъ бы въ свободные часы книжки всѣмъ собравшимся въ свѣтлыхъ просторныхъ комнатахъ, весело и шумно звалъ бы всѣхъ къ большому, чисто накрытому столу въ обѣденный часъ, и лились бы въ это время неумолкаемыя рѣчи и потолстѣла бы даже тощая маіорская дочь отъ этой жизни... Часто онъ сообщалъ эти мысли Варѣ и Ардальону, они приходили въ восторгъ и потомъ, вздыхая, говорили:

— Хорошія эти мечты.

— Какія мечты! — кипятился Порфирій и начиналъ горячо спорить, что онъ не думалъ мечтать, что это-то и есть правда, дѣлалъ счеты, смѣты и этимъ окончательно поражалъ Ардальона, не умѣвшаго считать.

Приближалась осень. Въ одинъ изъ тѣхъ

дней, когда въ садахъ спѣшатъ срѣзать послѣднія георгины и на улицахъ продаются букеты по гривеннику, Порфирій вдругъ, неожиданно для самого себя, появился въ квартирѣ Игнатьевны съ букетомъ цвѣтовъ.

— Это я вамъ принесъ, Варя, — сказалъ онъ, подавая ей букетъ, и сдѣлался красенъ, какъ вареный ракъ.

Варя засмѣялась. Глаза всѣхъ обратились на Порфирія и на Варю, стоявшихъ посрединѣ комнаты. Молодые люди смѣшались и стояли другъ противъ друга, потупивъ глаза.

— Это вмѣсто хорошаго балла за ученье? — шопотомъ рѣшилась спросить Варя.

— Это за то, что вы хорошенькая, — еще тише прошепталъ Порфирій и засмѣялся добрымъ, молодымъ смѣхомъ; ему очень хотѣлось въ эту минуту расцѣловать и Варю, и Ардальона, и всѣхъ присутствующихъ.

Варя еще болѣе покраснѣла, поднесла букетъ къ лицу и вдругъ побѣжала ставить его въ воду. Приснухинъ сѣлъ и былъ какъ-то разсѣянъ. Варя, между тѣмъ, выдернула одинъ душистый цвѣтокъ изъ букета и все время играла имъ, поднося его къ носу, раза два

она поднесла его къ губамъ и, кажется, поцѣловала, не зная, что играетъ съ огнемъ. Приснухинъ слѣдилъ за него.

— Пойдемте гулять! — неожиданно предложилъ онъ. — Въ садъ куда-нибудь, на вольный воздухъ...

— Чудесно! чудесно! Пойдемте, Ольга Васильевна, Ардальонъ, Любовь Алексѣевна! — обратилась Варя ко всѣмъ.

Любовь Алексѣевна, такъ звали маіорскую дочь, почувствовала щекотанье въ сердцѣ отъ приглашенія идти гулять съ образованными людьми и сочла непремѣннымъ своимъ долгомъ — отказаться.

— Помилуйте, я въ такомъ абилъе! — потушила она стыдливо глаза.

— Ничего, ничего; что за дѣло до вашей одежды! — кричала Варя. — Милочка, пойдемте!

— Ахъ, монъ анжъ, монъ анжъ! — захлебнулась отъ радости маіорская дочь.

— Вы, Авдотья Игнатьевна, чай намъ къ вечеру приготовьте, — распорядилась молодая царица. — Булокъ, душечка, купите...

— Нѣтъ, Варя, мы по дорогѣ купимъ, —

вмѣшалась Ольга Васильевна. — Тамъ, я знаю, есть такая отличная булочная.

— Ну, и чудесно, чудесно! — кричала, Варя.

Всѣ засуетились: кто надѣвалъ шляпку, кто искалъ зонтикъ, кто поправлялъ нарукавнички и воротнички, — наконецъ, партія двинулась въ путь. На лѣстницѣ вспомнилъ кто-то, что забылъ носовой платокъ, и послалъ за нимъ Ардальона, но Порфирій побѣжалъ тоже на перегонку, и оба, красные, облитые потомъ, запыхавшіеся, вернулись съ двумя носовыми платками. Причина для смѣху, и всѣ, смѣясь громкими голосами, пошли въ Екатерингофъ. Маіорская дочь шла съ Ольгой Васильевной, Варя — съ молодыми людьми. Разговоры въ городѣ шли очень обыкновенные: то о неровныхъ и избитыхъ тротуарахъ, то о нарядахъ, выставленныхъ въ окнахъ магазиновъ, то о восковой куклѣ парикмахера, мимо котораго шли наши путники, то, наконецъ, о томъ, что никто не ѣлъ и каждый хотѣлъ бы попробовать тѣхъ яствъ, которыя продаются въ разныхъ затѣйливыхъ банкахъ и коробкахъ во фруктовыхъ лавкахъ. Наконецъ, воздухъ сталъ чище, улица

просторнѣе, мостовая кончилась, и показала-
лась зелень Екатерингофа, а тамъ виденъ ку-
сочекъ залива и снующія по немъ лодки.
Порфирію вспомнились дѣтскіе годы, катанье
на челнѣ, уженье рыбы, буйный хохоть дру-
зей-мастеровыхъ, отвага не понимающаго
опасности дѣтства, — все то, что сдѣлало его
здоровымъ, крѣпкимъ и бодрымъ. Онъ пре-
дался воспоминаніямъ. Варя и Ардальонъ за-
слушались его своеобразныхъ, отрывистыхъ
и удалыхъ рѣчей. У нихъ духъ захватывало,
когда онъ говорилъ про волны, хлещущія въ
лодку, про дождь, пробиравшій до костей, про
черныя тучи, про то, какъ онъ въ одеждѣ вы-
купался, на солнцѣ высушился, какъ попалъ
въ тиски между барокъ, и тому подобные
ужасы.

— Вотъ жизнь-то! — воскликнула Варя.

— Да, это жизнь, — отвѣтилъ Порфирій. —
Не кататься мнѣ больше, какъ прежде... Да
нѣтъ, что я! — потрянулъ онъ головой. — Загу-
ляю еще, закачусь когда-нибудь на цѣлый
день на острова, и поминай какъ звали! Воля
тамъ...

Всѣ смолкли на нѣсколько минутъ.

— Варя, что вы не начнете учиться платья шить? — вдругъ спросилъ Порфирій.

— Какія платья? — спросила Варя съ недоумѣніемъ.

— Обыкновенныя, женскія, — отвѣтилъ Порфирій. — Вотъ у моей матери стали бы учиться. Потомъ выучились бы, магазинъ открыли бы... вмѣстѣ бы жили... всѣ...- добавилъ онъ едва слышно и покраснѣлъ отъ какой-то, одному ему извѣстной, мысли.

— Что это ты такое выдумалъ! — воскликнулъ Ардальонъ. — Развѣ Варя въ портнихи пойдетъ, этимъ мѣщанки занимаются.

— Такъ что-жъ, что мѣщанки?

— А она не мѣщанка.

— Не все равно развѣ, кому чѣмъ заниматься? Кто чѣмъ захотѣлъ, тотъ тѣмъ и занимайся, — отвѣтилъ сердито Порфирій. — Въ учительшахъ не лучше, я думаю, жить; только въ воскресенье и будемъ видѣться, — возразилъ онъ, не зная, что житье въ гувернанткахъ представляетъ не одно только это неудобство. — А въ магазинъ-то вмѣстѣ бы всѣ жили, мы бы тоже работали...

— Ну, братъ, не пошла бы работа на умъ въ

магазинъ, ты вонъ и самъ жаловался, что у отца заниматься не могъ въ мастерской.

— Такъ вѣдь это былъ бы не такой магазинъ.

— А какой же?

Порфирій не могъ сразу найти выраженія для своей мысли.

— Ну, не дрались бы тамъ, не плакали бы, — рѣшилъ онъ. — Жили бы вотъ такъ, какъ теперь у Игнатьевны, тихо, весело, только работали бы.

— Да, толкуй, а все же и товарищи порядочные не пошли бы къ намъ, тутъ говорить неловко. Вотъ они и ко мнѣ не ходятъ.

— Ну, и чортъ съ ними!

— Нѣтъ, братъ, соскучишься... О чемъ я дома стану говорить съ матерью и Игнатьевной? Необразованныя онѣ! А у товарищей разговоры, книжки, о театрѣ, обо всемъ говорятъ... Вотъ ты не ходишь къ нимъ, такъ и не знаешь, какъ у нихъ хорошо.

— Плевать я хотѣлъ на ихъ книги и разговоры!

— Такъ и оставался бы портнымъ безграмотнымъ, — разсердился Ардальонъ.

— Ай! — раздался крикъ позади заспорившихъ молодыхъ людей.

Они обернулись и увидали, что передъ Варей, отставшей отъ нихъ и собиравшей какіе-то поздніе цвѣты, стоялъ съ распростертыми объятіями полупьяный господинъ.

Порфирій бросился къ ней, подставилъ чисто по-школьнически ногу пьяному ухаживателю и треснулъ его кулакомъ въ спину, тотъ рухнулся на толченый кирпичъ аллеи. Порфирій съ яростью звѣря пнулъ его два-три раза ногою и плюнулъ.

— Подлецъ, — гаркнулъ онъ. — Изломаю тебя!

Ардальонъ и Варя схватили его дрожащими руками и потащили за собою.

— Сохрани Господи, еще привяжется! — прошепталъ въ испугъ Ардальонъ. — Изъ гимназіи выгонять!

— Такъ что же! не прикажешь ли позволить ему обнимать ее? — выдернулъ Порфирій свою руку изъ рукъ Ардальона.

— Нѣтъ... но исторіи-то эти. Мы, братъ, еще не большіе.

Порфирій сжалъ кулакъ и въ доказатель-

ство, что онъ большой, показаль его Ардальону, — это былъ дѣйствительно большой кулакъ.

— Справлюсь! — промолвилъ буянъ и вдругъ захохоталь, обернувшись назадъ.

Пьяный господинъ карабкался по песку и, вставши, падалъ снова. Варя и Ардальонъ послѣдовали примѣру Порфирія и съ дружнымъ смѣхомъ прошли въ аллею, гдѣ сидѣли отдохавшія отъ дороги Ольга Васильевна и Любовь Алексѣевна. Порфирій велъ Варю подь руку и, кажется, боясь ее выпустить, придерживаль лѣвою рукою ея руку. Варя хотя и смѣялась, но все еще пугливо жалась къ нему.

— Пора, пора домой, — сказали обѣ дѣвы нашей молодежи, и всѣ отправились въ обратный путь.

Всю дорогу Порфирій не выпускаль руки Вари, а Ардальонъ почему-то хмурился и шелъ одинъ. Взбираясь по темной лѣстницѣ въ ленныя владѣнія, Приснухинъ внезапно выпустиль руку Вари.

— Что вы? — спросила Варя.

Приснухинъ ничего не отвѣтилъ и быстро

исчезъ, только внизу лѣстницы отдавались его быстрые и звонкіе шаги.

Долго не могъ онъ уснуть въ эту ночь и въ полутемной комнатѣ, едва освѣщенной лампадой, сто разъ принимался писать и рвалъ бумагу. Какія-то неуклюжія строки съ риѣмами виднѣлись на клочьяхъ бумаги, и только одна строка не выходила изъ его головы и постоянно повторялась въ ней: Черезъ весь міръ я пройду за тобою...

Куда? зачѣмъ? что изъ этого будетъ? — этого не могъ придумать Порфирій. Онъ то смѣялся, то готовъ былъ плакать, свертывался, какъ котенокъ, кутаясь въ одѣяло, потомъ становилось душно, жарко, онъ разбрасывался снова и до зари не могъ уснуть.

А путники добрались до своихъ ленныхъ владѣній. Ардальонъ дулся и выглядѣлъ очень жалко, какой-то мокрой курицей. Всѣ усѣлись пить чай.

— Что ты, Ардальонъ, все молчишь? — спросила у него Варя со смѣхомъ.

— Вѣдь я не умѣю смѣшить, какъ Порфирій, — отвѣтилъ Ардальонъ съ мрачнымъ видомъ.

— Да ужъ точно весельчакъ онъ, — замѣтила Игнатъевна.

— Герой, герой просто! — воскликнула маіорская дочь и стала распространяться о пассажѣ въ Екатерингофъ.

— Экая у него силища-то богатырская! — ужаснулась Акулина Елизаровна. — Погубить онъ себя этою самою силою... А что ты-то такой блѣдненькій, Ардальошенька? Слабенькій ты, усталъ, голубчикъ мой.

— И не думалъ уставать! — разсердился Ардальонъ за то, что его подозрѣваютъ въ слабости.

— Какое ужъ не усталъ, лица на тебѣ нѣтъ, — сожальла Акулина Елизаровна сына. — Лягъ, батюшка, отдохни.

— Что вы выдумываете!

— Да нѣтъ, ужъ вижу я по лицу, что усталъ и умаялся. И молчалъ вотъ все время, это ужъ не спроста. Ты не церемонься, мы допьемъ чай и однѣ, а ты лягъ.

— Точно, Ардальонъ, вы измучились, ходили много. Ступайте спать, — замѣтила Ольга Васильевна.

— Да, да, не женируйтесь, — ввернула

маіорская дочь. — Вы деликатнаго тѣлосложенія.

— Покойной ночи, пріятнаго сна! — засмѣялась Варя.

Ардальонъ вскочилъ съ мѣста и выбѣжалъ въ свою комнату; онъ бросился на постель и залился слезами. Такъ онъ и уснулъ въ одеждѣ, уткнувшись лицомъ въ подушки. Черезъ часъ явилась въ комнату и Акулина Елизаровна, увидала сына, спящаго въ одеждѣ, и всплеснула руками.

— Ишь вѣдь какъ умаялся, бѣдняжка!.. Ардальоша, — шопотомъ проговорила она, дотрогиваясь до его плеча. — Дай я сапожки съ тебя сниму. Ножки затекутъ въ сапожкахъ-то.

Полупроснувшись, Ардальонъ далъ матери раздѣть себя и заснулъ снова.

— Христось съ тобою, родной мой, цвѣтикъ нѣжный. — шептала мать и тихо опустилась на колѣни передъ образами. — Долго продолжалась ея неслышная молитва, и только иногда слышался едва внятнѣйшій шопоть:

— Брысь! Охъ, ужъ эта кошка... И вѣчно начнетъ по ночамъ бродить! Васька, Васька,

брысь!..

Потомъ снова бѣдная капитанша невнятно шевелила губами и клала земные поклоны.

— А вѣдь образокъ-то надо почистить, ишь какъ закоптился, — еще разъ внятно прошептала она среди безмолвной молитвы и, наконецъ, вздыхая и охая, съ озабоченнымъ лицомъ начала укладываться въ постель, словно соверша трудную, мучительную работу.

— Косточки-то всѣ болятъ, маслицомъ, что ли, потереть! — шамшила она. — Клопъ, кажется, прости Господи! У Ардадьоши надо будетъ диванчикъ-то посмотришь, да-а... — разсуждая такимъ образомъ, засыпала капитанша.

На слѣдующій день, во время урока, Варя посмѣялась Порфирію насчетъ его бѣгства.

— Мнѣ поцѣловать васъ вдругъ захотѣлось, — хмурясь отвѣтилъ онъ едва слышнымъ голосомъ.

— Ну, и поцѣловали бы, если захотѣлось, — засмѣялась она шутливо.

— Варя, зачѣмъ вы шутите этимъ? — спросилъ онъ сурово. — Мы ужъ не дѣти...

— Вотъ еще! Я часто цѣлую Ардальона. Что

же мы такое, если не дѣти?

— Какъ что? Да вы взгляните на себя, а про меня и говорить нечего... Вы думаете, что я мальчишка-молокосось, какъ Ардальошенька? Вонъ я ему рассказывалъ, какъ нѣмка васъ приглашала къ себѣ жить, такъ онъ только ротъ разинулъ и не понялъ ни слова.

Варя нахмурилась.

— Такъ зачѣмъ же вы о такихъ глупостяхъ думаете, — спросила она сердито.

— Въ томъ-то и дѣло, что не глупости, — съ жаромъ замѣтилъ Порфирій. — Или вы думаете, что не придется намъ устроить по-своему жизнь? Что я объ этомъ не думаю?

И Варя, и Порфирій смолкли. Урокъ шель довольно вяло. Вечеромъ Приснухинъ съ особенною страстностью спорилъ съ Ардальономъ насчетъ того плана жизни, который постоянно занималъ его молодую и горячую голову.

— Вотъ твоя мать бѣдная, Любовь Алексѣевна бѣдная, Игнатъевна тоже, — говорилъ онъ: — а почему онѣ бѣдныя? Потому, что не работаютъ, все просьбы пишутъ, по три рубля въ мѣсяцъ отъ благодѣтелей полу-

чають, должны вездѣ. Вотъ онѣ по угламъ картофель ѣдятъ, масла на копейку покупаютъ, а у насъ на эти же деньги всѣхъ мастеровыхъ мать обѣдомъ кормить: здѣсь одного чаю сколько выйдетъ, какъ каждый въ своемъ чайникѣ завариваетъ. Вотъ посмотри, Варя учительшей будетъ, а денегъ тоже не скопить.

— Она замужъ выйдетъ, — рѣшилъ Ардальонъ.

— Тоже за бѣдноту, такъ ужъ не лучше будетъ! А лучше бы шить училась, съ моею матерью жила бы, и другія стали бы жить съ нами, — указаль онъ на бѣдныхъ жилищъ ленныхъ владѣній.

Въ такихъ разговорахъ шло время. Варя иногда посѣщала Гребешковыхъ, и все болѣе и болѣе ухаживали за нею дѣвицы Гребешковы, потому что стоило ей придти, чтобы явился и Дикобразовъ. Онъ даже бралъ иногда ложу въ театрѣ для семейства Гребешковыхъ, непременно настаивая на Вариномъ присутствіи въ ложѣ. Варя, совершенно незамѣтно для себя, завлекала юношу своимъ совершенно невыработаннымъ, чи-

сто-дѣтскимъ характеромъ. Она и сердилась, и смѣялась, и невинно кокетничала безъ всякаго умысла, безъ всякихъ глубокихъ соображеній, хотя всѣ ея поступки и вызывали глубокія соображенія въ голосахъ дѣвицъ Гребешковыхъ.

— Она порядочная кокетка, — осмѣлились онъ какъ-то замѣтить Дикобразову.

— Это бѣлая страница, на которой покуда каждый старается прочесть то, что онъ хочетъ, — отвѣтилъ Дикобразовъ.

— Такъ вы ее пустою называете? — засмѣялись ядовито дѣвицы.

— Я хотѣлъ сказать, что только въ ней еще не нашель грязи, — отвѣтилъ онъ, съ гримасой взглянувъ на нихъ.

Было что-то странное въ отношеніяхъ этого страннаго юноши къ Варѣ. Никто не понималъ, почему онъ сошелся съ ней, почему онъ искалъ встрѣчи съ нею и даже дѣлалъ попытку получить позволеніе пріѣхать въ ленныя владѣнія. Попытка эта была отклонена, и, повидимому, это обстоятельство опечалило Дикобразова. Свое неудовольствіе онъ выразилъ совершенно своеобразно тѣмъ, что на-

дулся, какъ дуются избалованныя, капризные дѣти. Дѣйствительно, онъ былъ избалованный барчукъ. Въ нѣсколько мѣсяцевъ знакомства съ Варей онъ узналъ всѣ подробности житья-бытья ленныхъ владѣній и при встрѣчѣ съ дѣвушкой спрашивалъ уже, какъ про своихъ давнишнихъ знакомыхъ, про Ардальона, Порфирія и другихъ бѣдныхъ жильцовъ «большого дома». Варя тоже привязалась къ нему болѣе, чѣмъ къ кому-нибудь другому; отъ него узнала она многое про жизнь того круга, котораго она прежде не знала и гдѣ постоянно вращался Дикобразовъ; отъ него она получила нѣсколько книгъ, которыя не могли бы получиться ею отъ другихъ ея знакомыхъ; при помощи его, она довольно часто бывала въ театрѣ съ Гребешковыми. Голова неопытной дѣвушки часто очень сильно кружилась. Однажды, послѣ долгихъ разговоровъ съ Дикобразовымъ, она воротилась домой и встрѣтила Приснухина; онъ былъ мраченъ.

— Что съ вами, Порфирій? — спросила она.

— Отецъ пьянъ! — отвѣтилъ Порфирій.

— Но вѣдь онъ пересталъ пить.

— Опять началъ... Не къ добру это! — махнулъ рукою Приснухинъ.

На слѣдующій день «большой домъ» былъ какъ-то особенно взволнованъ, какъ умѣлъ онъ волноваться только вслѣдствіе необычайныхъ событій, и шептался о какомъ-то важномъ поразительномъ происшествіи. Наконецъ, слухи достигли и долженныхъ владѣній, при помощи слесарши, переговорившей со всѣми жильцами «большого дома», сотни разъ всплеснувшей руками и произнесшей тысячи проклятій.

— Подъ судъ, подъ судъ упрятали! — кричала она, вбѣгая къ Игнатьевнѣ съ краснымъ отъ волненія лицомъ.

— Кого? — воскликнули съ испугомъ жилицы.

— Съ жандарами увезли, въ крѣпость! Говорятъ, казнить будутъ, — кричала она.

— Да кого, кого? — приставали къ ней.

— Да все его же, окаяннаго!.. Кого же другого подъ судъ упекутъ? Гдѣ другой-то такой извергъ найдется?.. Вѣдь, какъ свѣтъ стоитъ, такъ такого мошенника не было!..

— Да вы, душа моя, успокойтесь! — попро-

бовала успокоить слесаршу маіорская дочь.

— Ахъ, подлець, подлець!.. — продолжала волноваться слесарша. — Жену загубилъ, сына загубилъ! Провалиться бы ему въ тартарары! Говорила я, что не добромъ наживается, слушать не хотѣли! А вотъ дѣло-то по-моему и вышло... Подлець, подлець!!

Послѣ долгихъ восклицаній и оханій оказалось, что увезли не «жандары», не въ крѣпость и не для казни, а просто въ тюрьму и увезли не кого-нибудь другого, а Александра Ивановича Приснухина, бывшаго подрядчика, плута и мошенника-поставщика. Въ департаментѣ, съ которымъ велъ дѣла Александръ Ивановичъ, былъ тоже переполохъ. Десятки чиновниковъ чуяли, что имъ не сдобровать, и жались на своихъ протертыхъ стульяхъ, зная, что въ послѣдній, можетъ-быть, разъ сидятъ они на этихъ въ теченіе двадцати лѣтъ просиженныхъ мѣстахъ. Громадная плутня поставки гнилого товара, счетъ вещей, не принятыхъ, но зачисленныхъ въ число принятыхъ, фальшивыя квитанціи и расписки, — все это начинало приводиться въ ясность, и Приснухинъ былъ,

можетъ-быть, менѣ всѣхъ другихъ достоинъ наказанія. Мрачный, потерявшій всякое сознаніе происходившаго, онъ палъ духомъ и трепеталъ, какъ пойманный звѣрь; въ этомъ трепетѣ видѣлась и безсильная злоба, и подлая трусость. Въ чаду глубокихъ соображеніе, надѣясь нажитья и разбогатѣть, на зло всѣмъ, началъ онъ когда-то плутовать: отлично смазалъ всѣ колеса машины, пригналъ въ ней, повидимому, винтъ къ винту, заткнулъ всѣ дыры и прорѣхи, гордо поднялъ голову, вышелъ на торную дорогу обмана, и вдругъ все, все оборвалось разомъ. Тутъ уже были не мысли о томъ, что скажетъ подлець «большой домъ», какъ придется кланяться, можетъ-быть, даже ненавистному сыну; но были тутъ полный страхъ передъ наказаніемъ и сознаніе своего безсилья вынести предстоящую кару и жить гдѣ-нибудь въ Сибири. Приснухинъ то приходилъ въ ярость, то валялся въ ногахъ у судьи и смотрителей и, видя бесполезность всѣхъ попытокъ, скрежеталъ зубами. Тысячи ругательствъ и проклятій сыпались на жену и сына; онъ велѣлъ не впускать ихъ къ себѣ, грозилъ убить ихъ при первой

встрѣчь... Ему все казалось, что они ходятъ любоваться и тѣшиться его несчастьемъ... А они бѣгали, какъ помѣшанные, тоже кланялись, хлопотали, суетились, — и ничего не могли сдѣлать. Порфирій попробовалъ въ первый разъ въ жизни отправиться къ своему крестному отцу съ просьбой о помощи. Первые слова юноша произнесъ дрожащимъ, тихимъ голосомъ; слѣдующія фразы уже звучали громкимъ упрекомъ; еще черезъ минуту въ комнатѣ слышалась цѣлая буря. Крестный отецъ грозилъ Порфирію отправить его въ полицію и выдрать, какъ послѣдняго щенка.

— Что вы думаете, что я ничего не знаю! — гремѣлъ Порфирій.

— Вонъ, мерзавецъ! Я лакеямъ прикажу тебя вытолкать! — кричалъ крестный отецъ.

Зеленый отъ злобы, разбитый, возвратился Порфирій домой... Глаша забывала въ это время, что у нея дома сидятъ голодныя дѣти, и бѣгала по дѣламъ; Порфирій забывалъ, что въ гимназіи каждый день идутъ уроки. Время и послѣднія деньги тратились совершенно безплодно. Бѣдными людьми писались прось-

бы, платилось писарямъ за то, что просьба принималась; писаря и чиновники знали, что изъ этого ничего не выйдетъ, но деньги принимали и даже совѣтовали, съ очень добродушнымъ видомъ, дать тому-то и тому-то изъ ихъ собратій. Каждый сторожъ, каждая послѣдняя спица въ колесницѣ разныхъ департаментовъ требовали денегъ, денегъ и денегъ. Они соображали, что: отчего же и не взять, если такой случай подошелъ? Глафира Николаевна соображала въ свою очередь, что: какъ же не дать, если это можетъ помочь? и размышляла, что она вѣчно упрекать себя будетъ, если не дастъ денегъ, а мужа накажутъ, что тогда она будетъ вѣчно считать, что его наказали вслѣдствіе ея жадности и нерадѣнья. Ни сынъ, ни мать не понимали, что при всей бѣготнѣ, при всѣхъ тратахъ, они не сдѣлаютъ ничего, не облегчатъ ни судьбы Александра Ивановича, ни своей собственной. Въ такихъ случаяхъ голова теряется у человѣка, онъ бѣгаетъ, хлопочетъ, суетится, говоритъ, чтобы только не оставаться въ бездѣйствіи, въ одиночествѣ, чтобы хоть на мгновенье имѣть возможность не глядѣть въ

лицо своей будущности и не думать, — а эта будущность и эти думы чернѣе осенней ночи и неотвратимо, быстро сгущается ихъ долгая, почти безразсвѣтная тьма... Удастся ли еще дожить до свѣта?

А на дворѣ была уже весна...

— Порфирій, что мы дѣлать-то будемъ?.. Какъ ты въ гимназію-то будешь ходить? — спрашивала мать у Приснухина однажды послѣ долгихъ и неудачныхъ хлопотъ.

— Богъ съ ней, съ гимназіей!.. Теперь надо кусокъ хлѣба добывать, — говорилъ сынъ, исхудавшій и пожелтѣвшій за послѣднее время.

— Вотъ Ардальонъ переѣзжаетъ отъ матери... Что если бы ты тоже одинъ жилъ, тебѣ бы легче... — начала нерѣшительнымъ тономъ Глафира Николаевна, опустивъ въ землю глаза, на которыхъ уже сверкали слезы.

— Что ты, мать, говоришь? Бросить тебя? Теперь бросить? Развѣ я разбойникъ?.. Вспомни только одно: бросила ли ты меня годъ тому назадъ, когда отецъ выгонялъ меня изъ дому? Ты грудью стала за меня, ты ночей за меня не спала... А братья, сестры?.. Кто ихъ

учить будетъ? Или имъ тоже неучами вырасти?.. Пусть хоть они доучатся!..

Порфирій зарыдалъ при послѣднихъ словахъ, какъ дитя; въ его пылкой головѣ вдругъ мелькнула картина его будущности; онъ былъ и долженъ былъ остаться недоучкой, оторваннымъ отъ быта своего отца и еще не попавшимъ на другую дорогу человѣкомъ. Эта мысль уже грызла его сердце.

— Господи, Господи, что съ тобою? — закрыла лицо руками мать. — Загубила я тебя своею любовью! Какъ цѣпями, я тебя опутала ею... И умереть-то я не могу для твоего счастья! Они, они тебя свяжутъ! — указала она на дѣтей. — Нѣтъ, голубчикъ, терпи, будемъ вмѣстѣ биться...

Порфирій плакалъ.

— Дура я, дура, сама не знаю, что говорю!.. Господи, вѣдь молодъ еще ты, тебѣ жить бы надо... И за что ты мучаешься? За грѣхъ мой поганый!.. Видитъ Богъ, каялась я за него, по ночамъ не спала, плакала...

Порфирій махнулъ рукою и не могъ болѣе выдержать этой сцены, убѣжалъ въ свою комнату и рухнулъ на постель...

Х

Семейныя драмы

Какъ на саванъ сшиваетъ куски полотна любящая мать мертвому сыну, такъ шила Акулина Елизаровна бѣлье для своего Ардальоши.

— Переѣдетъ, не будетъ его у меня, голубчика! — причитала она, по своему обыкновенію вслухъ, тихимъ шопотомъ и украдкой отирала слезы. — Переѣдетъ! семнадцать лѣтъ жили вмѣстѣ... маленькаго грудью кормила... Растила, няньчила... Дура я, дура необразованная, что я плачу, развѣ я могу съ сыномъ-то жить?.. Мучить-то его своимъ холопствомъ? Чтобъ товарищи-то отъ него бѣгали и на смѣхъ его поднимали... Охъ ты, Господи, Боже мой, Мать Пресвятая Богородица, Владычица Небесная!..

— Что вы, маменька, все плачете? — спрашивалъ возвращавшійся изъ гимназіи Ардальонъ.

— Какъ же мнѣ не плакать, батюшка? съ тобою расстаюсь, — слезливо сморкалась Аку-

лина Елизаровна.

— Такъ вѣдь не хороните же меня! Будемъ видѣться. Вѣдь нельзя же мнѣ въ этой конурѣ жить! Вотъ меня на кондицію одинъ помѣщикъ приглашаетъ.

— На что же это онъ тебя приглашаетъ?

— Дѣтей учить.

— А-а!

— Вотъ въ деревню съ нимъ уѣду...

— Господи! — всплеснула руками Акулина Елизаровна и уставила глаза на сына. — Уѣдешь, какъ же это, батюшка!

— Что же, маменька, вѣдь это мнѣ счастье. Шутка ли сколько денегъ заработаю! Отъ этого моя будущность зависитъ... Не могу же я здѣсь, маменька, жить... Я васъ люблю, но вѣдь надо привыкать жить одному... Потомъ, и по службѣ можетъ тоже такой случай выйти, что надо будетъ въ отъѣздъ... Вѣдь служба не посмотритъ на наши слезы.

— Охъ, знаю, батюшка, знаю... Христось съ тобою! Да неужто ты думаешь, что я твоей судьбѣ стану мѣшать... Да какая же я мать была бы послѣ этого?.. Развѣ я не знаю!.. Вѣдь дура я, вотъ отчего и плачу, ты на эти слезы

вниманья не обращай...

— Да и я такъ только сказалъ, что здоровье портите...

— Ну его, здоровье-то мое!.. Вырастила тебя, слава Богу, теперь на покой пора... Ты живи...

Акулина Елизаровна торопливо отирала слезы и принималась снова за работу.

Если не весело теперь жилось Акулинѣ Елизаровнѣ, то хоть и весело, но не легко жилось и Ольгѣ Васильевнѣ. Она рѣшилась дѣлать доброе дѣло, не разсчитывая, достаточно ли у нея силъ и средствъ на этотъ подвигъ. Доброе дѣло — вещь прекрасная, но (хотя въ этомъ и грустно сознаться чувствительнымъ сердцамъ) и къ нему нужна подготовка, даже болѣе серьезная, чѣмъ подготовка къ самымъ злодѣйскимъ поступкамъ. Послѣдніе удаются легче. Чтобы не считать этой мысли за парадоксъ, спросите себя: что легче — убить или вылѣчить челоуѣка? Лѣченіе ближнихъ — дѣло прекрасное; лѣченіе же бѣдныхъ, лѣченіе даромъ еще прекраснѣе, но можно ли поощрять тѣхъ добрыхъ, превосходныхъ женщинъ, которыми

полны наши уѣздные города и деревни и которыя, затративъ свои деньги, рѣшились безъ всякой подготовки лѣчить даромъ своихъ ближнихъ гомеопатіей! Вы не докажете, что, совершенно не зная медицины, можно узнать характеръ болѣзни, и что, не зная характера болѣзни, можно ее лѣчить; значить, эти женщины могутъ приносить только вредъ или совершенно бесполезно, подобно бѣгающимъ въ колесѣ бѣлкамъ, убивать свой трудъ. Но взгляните на ихъ любовь къ ближнимъ, самоотверженную затрату денегъ, на ихъ смѣлыя посѣщенія опасныхъ больныхъ, на ихъ геройское перевязыванье и обмываніе язвъ, и попробуйте сказать послѣ всего этого: онѣ взялись за дурное дѣло. Я скажу только одно то, что онѣ взялись за доброе дѣло, но взялись за него въ чаду глубокихъ соображеній, подѣвліяніемъ прописного правила: дѣлай добро ближнимъ! и не обвиню ихъ за то, что прописи не сказали имъ: лучше не дѣлайте добра, если васъ не подготовляли, не хотѣли готовить къ этому, думая, что вы не способны даже на это по своей натурѣ. Бѣдныя женщины, насмѣшку прописей вы приняли за исти-

ну! «Дѣлай добро» на языкѣ прописей значить: ходи на головѣ, думай ногами, топи печи льдомъ... Не я брошу въ васъ камень! Не разъ въ жизни слушалъ я съ горькою улыбкой, какъ вы же первыя возставали противъ женщинъ, вздумавшихъ учиться медицинѣ, желчны были ваши нападки на сующихся не въ свое дѣло вашихъ сестеръ. Но, богобоязненные, чловѣколюбивыя, вы ли были виноваты, что васъ не пріучили даже думать? Весь процессъ вашей мысли сложился въ какой-то чадъ глубокихъ соображеній, напоминающихъ логику жалкой помѣщицы Коробочки. Вы многихъ заставляете страдать, многимъ отравляете жизнь, но все это изъ желанія добра, одного добра!.. Хорошо ли, худо, — Ольга Васильевна начала давать уроки, — тутъ не мѣсто говорить о ея подготовкѣ къ этому дѣлу, — у нея было много знакомыхъ, и недостатка въ ученицахъ и ученикахъ не было, но жизнь дорога, а трудъ дешевъ. Потому Ольгѣ Васильевнѣ пришлось, во-первыхъ, лишить своихъ кузинъ доли маленькихъ подарочковъ; во-вторыхъ, выслушивать за это самое вѣчныя жалобы и птичій пискъ кузинъ-пти-

чекъ; въ-третьихъ, пришлось хуже прежняго одѣваться. Ея платья сдѣлались смѣшны, они вышли изъ моды, пообносились, подшились и стали короче; шляпка, покрылась сальцемъ отъ помады; платочки, прежде красивые и яркіе, теперь полиняли, выкрасились и стали черненькими; такая же участь скоро постигла и платья, и шляпку. Ольга Васильевна въ одинъ прекрасный день могла бы увидѣть себя въ этомъ траурномъ нарядѣ, если бы она имѣла время и охоту смотрѣться въ зеркало и думать о себѣ; но она, — къ счастью или къ несчастью, я этого не знаю — забыла совершенно о существованіи жиденъкой гувернантки и видѣла и любовалась только однимъ существомъ — Варей, которая теперь сдѣлалась для нея дороже ея собственной особы; насколько это было полезно Варѣ, — опять не наше дѣло. Забывъ о себѣ и помня только о Варѣ, Ольга Васильевна, очень естественно, думала, обѣдая въ гостяхъ: «какъ жаль, что Варя не ѣстъ этихъ слоеныхъ пирожковъ!» — и одинъ изъ пирожковъ исчезалъ со стола въ ея карманъ. Такія же мысли являлись у нея, когда подавались къ чаю вкусныя бріюши, и

бріюшь незамѣтно переходила въ карманъ въ то время, какъ всѣ думали, что Ольга Васильевна насладилаь ею, и спрашивали, «понравилось ли ей это печенье, купленное въ новой булочной, такъ какъ старый булочникъ разжился и совсѣмъ испортился». Черезъ мѣсяцъ, Ольга Васильевна торопливо пропорола полотнище платья на лѣвой сторонѣ и вшила второй карманъ... Это событіе очень радовало ее, потому что провизія пирожковъ, бріюшей, яблоковъ, апельсиновъ и тому подобныхъ предметовъ гастрономической роскоши могла увеличиваться. Похищеніе — если можно такъ назвать прятанье предложенныхъ намъ лакомствъ — было скоро подмѣчено, какъ это всегда бываетъ, быстроглазыми дѣтьми; они первыя сообщили своимъ парас и маманс, что учительница прячетъ провизію въ карманы, что у нея ихъ два, съ обѣихъ сторонъ платья. Это возбудило смѣхъ. Разговоръ господъ, какъ это тоже всегда водится, дошелъ до слуха прислуги, и она первая переименовала Ольгу Васильевну изъ учительши въ побирушку.

— Кто тамъ звониль? — спрашиваль ла-

кей, проводившій все время въ дремотѣ и кражѣ барскаго вина.

— Побирушка наша пришла, — отвѣчала егоза-горничная, улучшавшая обѣдъ для прислуги обѣдками съ господскаго стола.

— Опять напрячетъ всего. Какъ она бутылокъ не носитъ, чтобъ вино сливать!

— Третьяго дня пять пирожковъ утащила, — промолвила горничная, вѣроятно забывъ, что эти пирожки передала она своему трюродному или какому-то другому брату.

— А еще барышней зовется! Хуже насъ, хамовъ!

— Ну, ужъ барышня! Видали мы этакой-то дряни!

Горничная имѣла полное право презирать Ольгу Васильевну, потому что та въ послѣдній новый годъ, краснѣя и бормоча извиненія, дала ей вмѣсто обычнаго рубля только двугривенный!

Эти разговоры не ушли отъ слуха господъ, — я этимъ не намекаю на то, что господа могутъ подслушивать или выспрашивать слугъ о своихъ знакомыхъ, — и презрѣнье прислуги необходимо должно было отразить-

ся и на образованныхъ господахъ. Ужь если даже лакей презираетъ кого-нибудь, то какъ же господину стоять ниже его по своимъ нравственнымъ взглядамъ. Это было бы стыдно и нелѣпо, нечестно даже, если хотите, такъ какъ подобный поступокъ ронялъ бы, нѣкоторымъ образомъ, значеніе образованности развитія. Ольгу Васильевну стали трактовать съ тономъ покровительства, какъ бѣдное и голодное созданье, падающее до безнравственности отъ бѣдности и голода. Ей стали прямо говорить:

— Возьмите, Ольга Васильевна, себѣ этотъ пирожокъ! Ольга Васильевна, душечка, мы вамъ велѣли рябчика завернуть. Вы, милочка, не сердитесь; вѣдь мы васъ, какъ родную, любимъ и знаемъ, какъ вамъ неудобно готовить для себя одной. Это крайне невыгодно. Какъ тяжело у насъ женщинѣ жить одной: мужчина въ кухмистерской можетъ пообѣдать, а женщинѣ мѣшаютъ эти глупые предразсудки и обращеніе нашихъ звѣрей-мужчинъ. Одной же держать столъ невозможно, просто невозможно при этой дороговизнѣ. Право, при видѣ этого иногда готова

проповѣдывать въ пользу ассоціацій, а ужъ, кажется, знаешь, какое это зло, какъ это... это... подрываетъ тамъ, ну, знаете, эти... эти основы...

Далѣе барыни вздрагивали, договорившись до «основъ», и рѣчь шла въ серьезномъ тонѣ, съ извѣстною долей запинокъ и подыскиванья разныхъ ученыхъ словъ. Ольга Васильевна, краснѣя, принуждена была брать завернутаго въ бумагу рябчика, дерзко сунутаго ей горничной, и, улыбаясь, благодарила «душеньку», «миленькую», «голубушку», то-есть эту горничную. Черезъ мѣсяць еще, она уже не краснѣла, и что же ей было краснѣть? Она, Ольга Васильевна, не существовала, — существовала одна Варя, а для Вари можно было сдѣлать все.

— Настоящая старая дѣвка сдѣлалась, — говорилъ то тотъ, то другой мужъ женѣ про Ольгу Васильевну. — Я думаю, у нея тамъ на цѣлый годъ провизіи запасено.

— Я думаю! Мнѣ кажется, у нея привязные карманы подъ платьемъ.

— Что ты? Ха-ха-ха!.. Однако, серьезно говоря, это отвратительная скарედность! И какъ

она одѣвается, платье — поддегулька какая-то, шляпка блиномъ...

— Да, я ее какъ-то на улицѣ, встрѣтила, — маршируетъ она но грязи, точно отъ кредиторовъ улепетываетъ, — я, согрѣшила, сдѣлала видъ, что не вижу ея; да она и не замѣтила меня, она, кажется, и никого не видитъ, бѣгая по городу.

— Хорошо еще, что сплетнями не занимается...

— Ну, мой другъ; не вѣрю я этому! Недаромъ она изъ дома въ домъ шмыгаетъ... Правда, я ее спрашивала, знаешь, для испытанія, про тѣхъ и про другихъ — такъ ничего не сказала, вѣдь она хитрая... у-у, какая хитрая! знать, что я не терплю сплетенъ: я вѣдь и спрашивала, такъ мнѣ было гадко, гадко; можетъ-быть, вѣдь и на лицѣ моемъ это было видно... А то, я думаю, сплетничаетъ... Вотъ хотѣлось бы мнѣ узнать, что она про Ивашевыхъ говоритъ, выпытаю у нея непременно, ужь ихъ-то, я думаю, чернить, чернить хуже грязи...

— Хорошо еще, что дѣти поняли всю смѣшную сторону этой скаредности и по-

прошайства, а то иначе она вредно бы подѣйствовала на нихъ; теперь же это даже полезно, они смѣются надъ ней. Она служить имъ вмѣсто Илота. Вчера я самъ слышалъ, какъ Ванька съ серьезнѣйшимъ видомъ предлагалъ ей пастилки, и вѣдь не улыбнулся, подлець, — ни-ни!

— И взяла?

— Взяла, даже поцѣловала Ваньку. А у него, у мошенника, только щеки надулись, и глаза таращатся, чтобы удержать смѣхъ. Бестія будетъ мальчишка!

Супруга пожалала плечами и показала головой, благодаря въ душѣ Бога, что она совсѣмъ не похожа на Ольгу Васильевну, что ей не пришлось просидѣть въ дѣвушкахъ и дойти до этой грязной сальности, до этого безстыдства. Варя видѣла, какъ у Ольги Васильевны, мало-по-малу, изгонялось все цвѣтное изъ туалета, и попробовала протестовать противъ чернаго крашеннаго облаченія, не понимая, что только при этомъ облаченіи она сама могла одѣваться въ цвѣтное. Но Ольга Васильевна сказала ей, что она уже отжила свой вѣкъ, что ей пора перестать щеголять,

что, наконецъ, на улицѣ дѣвушка безопаснѣе въ темной одеждѣ, что къ ней не пристанутъ нахальные провожатые, что черное удобнѣе и для занятій ея съ маленькими дѣтьми: чернилъ на немъ не видно. Варя, цѣлуя, упрекала сначала Ольгу Васильевну и за пирожки, говоря, что она напрасно ихъ покупаетъ и тратится на нее. Потомъ, мало-по-малу, ей стала открываться часть истины, и она начала краснѣть за Ольгу Васильевну. «Она, — думала Варя, — и въ пансіонъ привозила вечеромъ по воскресеньямъ конфеты и пирожки, значить, она и тогда была попрошайкой, и слава Богу, что это не для меня дѣлается». Варя не знала, что Ольга Васильевна привозила въ пансіонъ конфеты и пирожки не отъ знакомыхъ, а изъ кондитерской, гдѣ постоянно оставляла часть своего жалованья, любя, въ качествѣ жиденъкой гувернантки, полакомиться и побаловать любимыхъ воспитанницъ. Эта черта первая примѣшала къ Вариной любви долю какого-то страннаго, непріятнаго чувства. Ольга Васильевна стала казаться Варѣ ниже ея самой, показалась женщиной, любящей унижаться, любящей собирать вся-

кую дрянъ. Варъ нерѣдко казалось, что Ольга Васильевна готова носить обноски изъ жадности, только бы не купить ихъ. А Варя даже вѣдь обидѣлась, чуть не заплакала, когда Дикобразовъ вполнѣ радушно предложилъ ей подарить фортепяно? Вотъ какова была сама Варя! И вотъ та самая Ольга Васильевна, которую боготворили, — разумѣется, съ своею собственною имъ искренностью, — кузины за ея частые подарки, за ея даровые уроки, за ея самоотверженную преданность, стала черносалоппницей, попрошайкой, врагомъ слугъ, посмѣшищемъ дѣтей, предметомъ благодѣяній взрослыхъ, алчной побирушкой, вселявшей что-то въ родъ отвращенія въ то самое существо, которое погибло бы черезъ минуту, если бы эта алчная побирушка сказала:

— Довольно! Ольга Васильевна снова будетъ прежней Ольгой Васильевной, жиденъкой гувернанткой, мокрой курицей, пансіонской тряпкой; она устала играть роль Трезора!

А между тѣмъ, это существо, наша Варя, приготовлялась къ экзамену. Экзамень въ

университетъ былъ назначенъ весною. На каждый предметъ посвящался день въ недѣлю. Прїѣзжали на экзамень и дѣвицы въ блестящихъ собственныхъ экипажахъ, державшія экзамень изъ прихоти; тащились на извозчичьихъ клячахъ дочери болѣе бѣдныхъ родителей, и приходили пѣшкомъ совсѣмъ бѣдныя дѣвушки: собирались и молодыя созданія, и старыя дѣвы. Пестрота одеждъ, званій, возрастовъ, фізіономій была полная. Но всѣ эти созданія были барышни очень обыкновенныя, и, значитъ, знакомства и самая прочная дружба завязывались въ одну минуту.

— Позвольте, у васъ воротничокъ завернулся, — говорила одна.

— Ахъ, благодарю васъ! Я такъ торопилась, думала, опоздаю! — отвѣчала другая.

— Да, да, я сама торопилась. Вы первый экзамень держите?

— Нѣтъ, второй.

— Ну, такъ вы ознакомились, вѣрно. А я такъ боюсь, такъ боюсь!

— Ничего. Тутъ не страшно. У васъ сережка отстегнулась. Позвольте я поправлю.

— Ахъ, мерсі, мерсі, мерсі!.. Сядемте рядо-
мъ.

— Да, да. Я такъ рада, что вы мнѣ попались. Такъ непріятно быть между незнакомы-
ми.

— О, я вполне согласна съ этимъ. Все
чужія, незнакомыя, неловко такъ. Такъ мы
вмѣстѣ будемъ сидѣть и на будущей недѣль?

И обѣ барышни вполне были рады, что онѣ
не будутъ между незнакомыми и чужими:
онѣ уже знакомы, искренно любятъ одна дру-
гую и по дорогѣ узнаютъ всѣ тайны другъ отъ
друга, черезъ день забѣгутъ другъ къ другу,
черезъ недѣлю другъ за друга напишутъ
сочиненіе или рѣшатъ задачу на экзаменѣ,
черезъ мѣсяцъ... черезъ мѣсяцъ одна изъ ни-
хъ, обнявъ своего друга, шепнетъ своимъ дру-
гимъ друзьямъ, что этотъ другъ пренавязчи-
вое существо и воображаетъ себя красавицей,
а между тѣмъ у нея «и тутъ, и тутъ, и тутъ ва-
та!»

Варя не была какимъ-нибудь идеальны-
мъ исключеніемъ рода человѣческаго и
имѣла тѣ же добродѣтели и тѣ же пороки, ко-
торые имѣли и ея сестры-барышни. Она точ-

но такъ же поправила одной новой знакомой воротничокъ, поблагодарила другую за указаніе на разстегнутую сережку, поклялась въ вѣчной дружбѣ третьей за то, что та сидѣла рядомъ съ нею на трехъ экзаменахъ. Послѣ третьяго экзамена у Вари было уже нѣсколько искреннихъ друзей, радовавшихся, что имъ приходилось идти по одной дорогѣ. Маленькія сестры, маленькія подробности о своемъ прошломъ, маленькія жалобы на своихъ враговъ, — все это быстро и крѣпкими, чрезвычайно крѣпкими, узами связало дѣвушекъ, — конечно, навѣкъ.

— Ахъ, вы съ Ольгой Васильевной Суздальцевой живете! — сказала одна изъ искреннихъ подругъ Вари.

— А вы ее знаете? — спросила Варя.

— Кто же не знаетъ Ольгу Васильевну? Это нарицательное имя! Это типъ! — засмѣялась новая подруга Вари.

— Чему вы смѣетесь?

— Нѣтъ, нѣтъ, душечка, я не скажу! Вы, можетъ-быть, ей родня?..

— Нѣтъ, мы чужія, мы совсѣмъ чужія, у меня нѣтъ родныхъ, — сухо, но торопливо про-

изнесла Варя и покраснѣла.

— Ну, такъ я могу сказать! Она такая смѣшная! Я ее не знаю сама, но въ городѣ о ней говорятъ. Она вхожа въ десятки домовъ; вездѣ поспѣетъ она; мнѣ рассказывали про нее. Она воруетъ у всѣхъ кушанье, у нея привязные карманы. Ее всѣ зовутъ побирушкой. Это типъ старой дѣвы-учительницы...

— Это неправда! — воскликнула Варя и покраснѣла еще болѣе, сознавая, что она лжетъ, что это правда, гадкая для нея самой правда.

— Вотъ мило! Разумѣется, она вамъ не покажетъ своихъ похищеній. Всѣ жидоморки притворяются, что онѣ ничего не берутъ отъ другихъ. А что она побирается — это вѣрно. И вы, душечка, остерегайтесь ея; можетъ-быть, она выпрашиваетъ это для васъ, чтобы не такъ было стыдно самой. Она вашу репутацію можетъ испортить, пользуясь тѣмъ, что вы не имѣете знакомыхъ въ свѣтѣ...

Варя поблѣднѣла... Ей стало, какъ день, ясно, что Ольга Васильевна выпрашиваетъ для нея эти пирожки, просить милостыню для нея. Варя вполнѣ поняла только теперь, какъ

отвратительно поступала Ольга Васильевна; она сообразила даже, что Ольга Васильевна не по бѣдности, не по привычкѣ жить скромно, но по желанію не вводитъ ее Варю, въ свѣтъ, не знакомитъ ее ни съ кѣмъ за исключеніемъ Гребешковыхъ, — вѣдь въ первомъ новомъ семействѣ знакомыхъ Варя узнала бы истину, а этого-то и боится Ольга Васильевна. Варя негодовала до глубины души. Злоба, стыдъ, отвращеніе мѣшались въ ней въ одно тяжелое чувство. Въ день этого знаменитаго открытія истины Ольга Васильевна возвратилась домой усталая и предложила Варѣ, по обыкновенію, пирожки.

— Что это вы, Ольга Васильевна, пирожки отсюда таскаете? — сказала съ раздраженіемъ Варя, замѣнивъ обычное «мой другъ» болѣе вѣжливыми и болѣе холодными словами.

— Душа моя, ты ребенокъ, и я знаю, что ты любишь лакомиться, — начала простенькая Ольга Васильевна.

— Но не милостынею, не обглодками! — прервала ее Варя.

— Об-глод-ками! — съ недоумѣніемъ по-

вторила Ольга Васильевна и печально начала вертѣть пирожокъ, точно желая удостовѣриться, дѣйствительно ли онъ обглоданъ.

— Разумѣется, обглодками. Развѣ вы думаете, что я не понимаю, что вы выпрашиваете эти пирожки, что вы на мое имя выпрашиваете ихъ, жалуясь, что вамъ нечѣмъ меня кормить, марая мою репутацію, заставляя людей указывать на меня пальцами...

— Варя! Варя!

Ольга Васильевна тихо положила пирожокъ на столъ и начала безъ всякаго сознанія рыться въ рабочемъ столикѣ. Уже нѣсколько крупныхъ, горячихъ слезъ упало на руки, но она ихъ не замѣчала и все чего-то искала. Наконецъ, она вынула вышивку и начала работать, но игла не попадала въ матерію, глаза ничего не видали, а слезы все текли и текли... Ни одного вздоха, ни одного упрека не вырвалось изъ груди Трезора; но Варя смутилась и, сознавая всю свою правоту, почему-то стыдилась взглянуть на эту безмолвную, покорную фигуру со слезами на щекахъ. Варя сконфуженно ходила по комнатѣ. Прошло съ часъ

времени. Игнатъевна вошла объявить, что самоваръ скипѣль.

— Можете его подать, Авдотья Игнатъевна, — произнесла Ольга Васильевна, поспѣшно отирая катившуюся по щекѣ слезу.

Самоваръ подали.

— Варичка, не послать ли за сухарями? — спросила Ольга Васильевна.

— Нѣтъ... Я не хочу...

— Я тебѣ налила, мой другъ... Какъ экзамень? — раздался робкій вопросъ. — Ты меня встрѣтила такъ... то-есть, ты была раздра... Ахъ, Боже мой!.. Ну, какъ же прошелъ экзамень?

Ольга Васильевна терялась и не находила словъ; ей хотѣлось объяснить, что она боится, не произошло ли раздраженіе Вари отъ неудачи.

— Ничего, хорошо.

— Ну, слава Богу, слава Богу! Ты меня... про... прости... не сердись! — шопотомъ произнесла Ольга Васильевна и неожиданно припала губами къ рукѣ Вари.

Несчастное существо въ теченіе часа раздумывало о своей судьбѣ, перебирало всѣхъ

своихъ знакомыхъ, родныхъ, представляло себѣ свое будущее и видѣло, что среди всего этого волнующагося міра оно теперь стало не нужно никому; что этотъ людной городъ для него пустыня, гдѣ оно видитъ только одного близкаго живого челоѣка — Варю, и этотъ-то челоѣкъ готовъ уйти. Ольга Васильевна испугалась могильнаго одиночества среди тысячеустной толпы...

Варя вся вспыхнула, у нея сердце перевернулось отъ этого поцѣлуя; она за что-то даже упрекала себя, хотя понимала, какъ глубоко виновата передъ нею Ольга Васильевна, какъ скверно поведеніе послѣдней, но по добротѣ, по великодушію, столь свойственнымъ молодымъ дѣвушкамъ, подобнымъ Варѣ, простила Ольгу Васильевну и тихо поцѣловала ее. Ольга Васильевна разрыдалась...

Характеръ Вари высказался вполнѣ, — болѣе нечего ждать отъ него. Это характеръ бездомнаго пролетарія, брошеннаго нами безъ сожалѣнія, лишеннаго всѣхъ опредѣленныхъ обязанностей, дающихъ право на жизнь. Наши радости, наши скорби, наша слава и нашъ позоръ, все, все будетъ ему чуждо, — его не

призвали раздѣлить ихъ. Ему бросали тѣ или другія личности кусокъ хлѣба, онъ не зналъ, за что ему брошенъ этотъ кусокъ хлѣба, и въ то же время онъ сознавалъ, что точно такъ же спокойны остались бы мы, если бы ему и не бросилъ никто этого черстваго куска. Его интересы не близки намъ, потому они вдвое ближе ему. Насъ цѣлое общество, а онъ одинъ; ему нужно быть безпощаднѣе, злѣе въ борьбѣ, потому что вся его жизнь будетъ борьба, — борьба съ нами, закрывшими передъ нимъ свои двери. Это — страшное существо, но въ то же время это жалкое, до боли жалкое существо. Ольга Васильевна помнила пансіонскихъ подругъ, помнила, что о ней заботились десятки людей въ молодости, что они развили въ ней потребность любви, поставили ее на извѣстную дорогу, сказали: ты получаешь образованіе, чтобы учить нашихъ дѣтей, — а Варя, кто указалъ ей ея мѣсто въ обществѣ? Скрипицына? Ольга Васильевна? Отдѣльныя личности, взявшія ее, потому что она была жалка, а онъ одиноки. Подвернись имъ другая дѣвочка въ то же время, — и Варя осталась бы на улицѣ, была бы брошена. Всея

ея судьбой управляла случайность, и она почувствовала, угадала это, и не привязалась ни къ чему. И стоитъ ли привязываться къ тому, что можетъ черезъ минуту измѣниться, смѣниться новою случайностью? Не стоило бы слѣдить за жизнью этого безучастнаго, ледяного и въ то же время надменнаго существа. Но оно будетъ сталкиваться съ нами и потому посмотримъ: кто прольетъ больше слезъ; оно ли, одинокое, брошенное нами, или мы, сошедшіеся дружно въ кружокъ, довольные, сытые? Наши роли раздѣлятся такъ: мы забудемъ про него и будемъ веселиться, наслаждаться жизнью, интересоваться своими общими задачами и вопросами, а оно будетъ — мстить...

ХІ

Бѣдные жильцы прощаются съ большимъ домомъ

Съ этой роковой минуты, которую мы описали въ предъидущей главѣ, у Ольги Васильевны явились новыя заботы, новыя соображенія и, вслѣдствіе ихъ, развилась новая черта въ характерѣ; умѣнье изобрѣтать и обманывать. Она стала теперь носить пирожки и рябчиковъ, но не выгружала ихъ при Варѣ, а отдавала Игнатъевнѣ и уговаривала ту подогрѣвать ихъ и дѣлать видъ, что это все куплено или приготовлено дома. Очень часто Игнатъевну посылали купить пятокъ апельсиновъ, который уже два дня лежалъ въ кухонномъ шкапу и совсѣмъ не былъ купленъ. Варя, между тѣмъ, искала мѣста, публиковала о себѣ въ газетахъ и приготовляла себѣ разныя принадлежности женскаго туалета. Наконецъ, мѣсто нашлось отличное и нашлось, но черезъ газеты. Наставали дни разлуки. Уже въ іюнь мѣсяцѣ въ послѣдній разъ собрались всѣ бѣдные жильцы ленныхъ владѣній,

по случаю отъѣзда Ардальона. Молодежь сидѣла въ комнатѣ Ольги Васильевны, у маіорской дочери собрались старыя жилицы. Разговоры не вязались: какой-то гнетъ грусти, недовольства и раздраженія лежалъ у всѣхъ на душѣ.

— Вотъ и несчастье пришло и разлука подоспѣла, — замѣтилъ Порфирій.

— Ну, какое же несчастье? — воскликнулъ Ардальонъ. — Я на мѣсто ѣду, Варя тоже; тебѣ одному плохо, потому что ты вышелъ изъ гимназіи, глупость сдѣлалъ.

— А какъ же бы ты сдѣлалъ? — спросилъ Порфирій.

Онъ похудѣлъ и словно выросъ въ послѣднее время, его лицо было серьезно и сурово. Онъ начиналъ понимать, что онъ теперь глава дома, и съ чисто юношескою надменностью, не лишенною прелести, исполнялъ эту роль.

— Остался бы учиться.

— А мать-то, братьевъ и сестеръ бросилъ бы.

— Да-а...

— И то хорошо, — желчно промолвилъ

Приснухинъ.

— Да ты пойми меня, ты вотъ все меня какимъ-то бездушнымъ считаешь, — началъ Ардальонъ. — А я вотъ какъ думаю: твоя мать въ теченіе года перебилась бы, а ты-то, кончивъ курсъ, былъ бы полезнѣе ей, чѣмъ теперь. Кто тебя безъ диплома возьметъ на службу?

— Служу же теперь, — отвѣчалъ Порфирій.

— Да, хороша служба! Корректуру знакомый типографщикъ, Христа ради, сталъ давать...

— Не Христа ради, а потому, что дешево взялъ...

— Ну, это все равно. На это не разживешься.

— Однако, я и перепиской зарабатываю, и еще время остается на ученіе братьевъ и на свои занятія.

— А что изъ твоихъ занятій выйдетъ? Ну, выучишься ты всему, ученіе меня будешь, а сунь носъ на государственную службу, не будь въ университетъ, — такъ и не примутъ.

— Ты это насчетъ диплома говоришь?

— Да.

— Ну, такъ знай же, что никакихъ дипломовъ не буду я брать, ни на какую службу не пойду, а добьюсь того, что всякій подлець мнѣ кланяться станетъ. Голова да руки есть, такъ безъ хлѣба не останусь!

Ардальонъ вытаращилъ глаза на Порфирія, услышавъ въ его голосъ какую-то ѣдкую злобу и заносчивость.

— По правдѣ сказать, братъ, мнѣ противно твое отношеніе къ матери, — продолжалъ Приснухинъ. — Приучила она тебя считать ее неблагородною, а себя благороднымъ, вотъ ты и гонишься за разными дипломами и свидѣтельствами. Бери ихъ, они не мѣшаютъ, только сдается мнѣ, что будешь ты чиновникомъ вонъ такимъ, какъ тѣ, что съ моимъ отцомъ фальшивыя квитанціи писали...

Ардальонъ покраснѣлъ и отвернулся. Всѣ помолчали.

— Что тебѣ вздумалось ссориться на прощаньи? — ласково спросилъ онъ чрезъ нѣсколько минутъ.

— Это не ссора; я просто сказалъ, что я думаю, — отвѣтилъ Порфирій. — Не обижайся, братъ! Всѣхъ насъ заѣла нужда. Вотъ взгляни,

и онъ всѣ горюють, — указаль онъ на женщину, сидѣвшихъ въ комнатѣ маіорской дочери. — Твоя мать плачетъ, что не можетъ жить по своему неблагородству съ тобою, а ты привыкъ къ этой мысли и повѣрилъ, что это правда. Моя мать мучается, что я изъ-за нея здоровье гублю; а скажи я, что я переѣду, она меня удержитъ. Да и не можетъ не удержатъ... Впрочемъ, и я-то не уѣду. Что я безъ ея любви?.. Кому нуженъ?

— Порфирій, мы васъ любимъ, — промолвила тихо Варя.

— Полноте, Варвара Семеновна! Мы привыкли другъ къ другу, а кто кого любить — это узнаемъ послѣ, когда другъ другу помочь будетъ нужно. Кто первый прибѣжитъ на крикъ, — тому и дипломъ на любовь...

Всѣ помолчали.

— А вѣдь это вы правду говорили о томъ, что насъ бѣдность заѣла, — замѣтила Варя. — Вотъ и Ольга Васильевна унижается, потому что и я, и она бѣдны.

— Разумѣется. Долго я раздумываль, — задумчиво произнесъ Порфирій:— и увидалъ, что какъ ни бейся каждый изъ бѣдняковъ, а

въ концѣ-концовъ все то же выйдетъ, — придется или разойтись другъ съ другомъ, какъ Ардальону съ матерью, какъ Варѣ съ Ольгой Васильевной, или губить себя другъ для друга, какъ губимъ себя мы съ матерью... Мнѣ работать за троихъ приходится и о себѣ думать нельзя, а ее это грызетъ, — а разстанемся, такъ еще хуже будетъ обоимъ... Вотъ если бъ мы всѣ вмѣстѣ-то остались жить, такъ дѣло лучше бы было...

— Ну, нѣтъ; я ужъ не осталась бы больше здѣсь! — воскликнула Варя.

— А были вѣдь и хорошіе дни, — элегическимъ тономъ произнесъ Ардальонъ:— помнишь Варя, какъ мы дѣтьми играли въ этой же комнаткѣ, твой отецъ былъ живъ. Порфирій въ тѣ годы еще буянилъ на дворѣ, иногда забѣгалъ и къ намъ. Все, каждая мелочь оживаетъ теперь передъ моими глазами и заставляетъ меня горевать объ этихъ дняхъ.

— О чемъ тутъ горевать, если все это надоѣло! — воскликнулъ Приснухинъ.

— Совсѣмъ не надоѣло; кто тебѣ это сказалъ? Я всей душой радъ бы воротить это время.

— Оно и воротилось бы, если бы не надоѣло тебѣ ныть твоей матери, вѣчная праздность Любви Алексѣевны и вѣчныя сплетни Игнатьевны. Варѣ тоже надоѣли и поцѣлуи, и пирожки Ольги Васильевны... Глупая, братъ, это жизнь и настроился ты на скорбь о ней, потому что ты ныть любишь. Душно было здѣсь и глупо прошло наше дѣтство. Слышались здѣсь ласки, но звучали онѣ словно зауспокойное пѣніе, точно все кого-то отпѣвали здѣсь. Всѣ о хлѣбѣ охали, а добывать его никто не умѣлъ... Вотъ и мы выросли тоже олухами, не знаемъ, какъ взяться за дѣло и какое-такое это дѣло будетъ. Чортъ съ ней, съ этою жизнью, и да благословить Господь этихъ бѣдныхъ женщинъ за ихъ любовь къ намъ!

Лицо Приснухина горѣло лихорадочнымъ румянцемъ, и глаза сверкали уже не дѣтскимъ огнемъ.

— Давеча, — продолжалъ Порфирій страстнымъ тономъ:— кто-то изъ васъ сказалъ о вашей любви ко мнѣ. Вотъ эта-то любовь другъ къ другу есть все, что дала намъ хорошаго прошлая жизнь. Но мы еще сами не знаемъ,

что такое любовь. Мы только цѣловать другъ друга умѣемъ, а когда-нибудь понадобится и помощь, и не нужны будутъ поцѣлуи. Я это уже испыталъ. Меня мать цѣлуетъ теперь, братья ласкаютъ, а никто изъ нихъ не могъ мнѣ пособить, не могъ научить меня въ эти тяжелые дни. Дорого я далъ бы если бы кто-нибудь поддержалъ меня теперь... Придется, можетъ-быть, и вамъ испытать такое горе, тогда идите ко мнѣ, — я помогу. Не знаю, поможете ли вы мнѣ, но я за себя ручаюсь.

Тонъ этихъ задушевныхъ словъ былъ до того искреннимъ, что ихъ нельзя было назвать хвастовствомъ. Ардальонъ, съ свойственной ему чувствительностью, бросился на шею къ Приснухице. Варя тихо подошла къ нему и поцѣловала его. Онъ вспыхнулъ и, совершенно растерявшись, прильнулъ губами къ ея рукѣ.

— Варя, я васъ очень люблю! — взволнованнымъ голосомъ прошепталъ Порфирій.

Варѣ даже и въ голову не пришло, что ей объяснялись въ любви, что эти слова вырвались изъ глубины этой открытой, честной души.

На другой день уѣхалъ Ардальонъ. Еще болѣе принизилась крошечная Акулина Елизаровна, еще жалобнѣе стали звучать единственные три нотки ея голоса. Варя торопилась шить себѣ платья. Ольга Васильевна старалась добыть побольше денегъ на покупку нужныхъ для Вари вещей. Наконецъ, осенью переѣхала съ квартиры и Варя... Всѣ были какъ-то грустны, словно не на жизнь провожали цвѣтущую юность, а готовились къ ея похоронамъ. Повидимому, и Ольга Васильевна, при поступленіи Вари на мѣста могла снова начать жизнь жиденъкой гувернантки и оставить ленныя владѣнія, опустѣвшія и безъ того. Но привычка къ новому образу жизни была уже очень сильна въ Ольгѣ Васильевнѣ. Она разсудила, что, во-первыхъ, она стала теперь свободнѣе жить, чѣмъ прежде, что у нея хотя нѣсколько часовъ въ день принадлежитъ собственно ей самой и не смущается шумомъ дѣтей; во-вторыхъ, она думала, что Варя можетъ, по какому-нибудь случаю, лишиться мѣста, и тогда ой снова понадобится помощь друга, — значить, лучше удержать квартиру за собой и быть всегда наготовѣ

принять свою любимицу. Сообразивъ послѣднее, Ольга Васильевна рѣшилась копить деньги, чтобы Варя могла занимать ихъ у нея на свои нужды или, въ случаѣ своего замужества, сдѣлать на нихъ, хотя необходимое, приданое. Ольга Васильевна, несмотря на потребность копить деньги, все-таки рѣшилась на одинъ расходъ: на шитье новаго платья для себя, и дала себѣ слово не пользоваться чужими пирожками; но, внимательно разсмотрѣвъ свой гардеробъ, она увидѣла, что онъ еще очень и очень хорошъ, особенно, если вывернуть черное шелковое платье и изъ двухъ черныхъ люстриновыхъ сдѣлать одно. Она даже упрекнула себя въ стремленіи къ мотовству, когда выгладила распоротыя полотнища двухъ платьевъ и увидѣла, что у нея изъ остатковъ выйдетъ даже небольшая пелеринка. Что-то въ родѣ страха закралось въ ея сердце при мысли о своей склонности къ мотовству. «Такія ли теперь мои средства и лѣта, чтобы мотать? — думала она. — И вдругъ я захвораю, что тогда будетъ?» Ей стало казаться неблагоприятнымъ готовить для себя ежедневный обѣдъ, потому что ее

непремѣнно гдѣ-нибудь накормятъ на урокахъ, да сверхъ того, что же она за исключеніе? Вѣдь не готовитъ же обѣдовъ никто въ своеобразномъ царствѣ Игнатъевны? И сама его правительница, и ея капитанша, и ея маіорская дочь, всѣ онѣ живутъ кофеемъ и ѣдятъ въ «сухомятку», то-есть, сегодня, питаются ситникомъ съ колбасой, завтра варенымъ картофелемъ съ маслицемъ, послѣзавтра поѣдятъ рѣдечки съ кваскомъ да прихватятъ студеню, и только развѣ въ воскресенье испекутъ пирожокъ... Это и дешево, и удобно, хлопотъ меньше.

— Мы не семейные люди; Богъ напиралъ, никто не видалъ, а кто и видѣлъ, такъ тотъ не обидѣлъ. Живъ Богъ — жива и душа, не отъ хлѣба человѣкъ сытъ будетъ, какъ говорится. Куда намъ кушанья-то разстрапывать, однихъ горшковъ потомъ не перемоешь; да оно и лучше, какъ въ печи-то у насъ стряпни нѣтъ: горшокъ съ горшкомъ столкнется, а тамъ и ссора. Ну ее, ссору-то!

Всѣ зги правила принимались всѣми, и только маіорская дочь, иногда чувствуя невыносимый голодъ, рисковала произвести

неожиданный аффектъ и говорила, что ее у знакомыхъ угощали сегодня «тертымъ пуремъ» и «французскимъ потажемъ»... Итакъ, Ольга Васильевна повела, несмотря на всѣ колебанія, ту же жизнь и иногда радовалась, угощая своихъ добрыхъ, добрыхъ сосѣдокъ разными кусочками рябчиковъ и пирожковъ. Она любила этихъ жилищъ отъ всей души; да, впрочемъ, кого же не любила Ольга Васильевна? Для нея всѣ, весь міръ были добрыми, добрыми, добрыми существами...

— Что вы, матушка, не подадите просьбы о вспомоствованіи? — спросила ее однажды ноющимъ голосомъ капитанша:— Убиваетесь вы работою, а тутъ, все-таки, вамъ денежная помощь была бы.

— Куда же это подать просьбу? — удивилась Ольга Васильевна.

— Какъ куда? гдѣ вашъ папенька изволили служить, или въ челоуѣколюбивое. Разумѣется, тутъ ужъ мало выдадутъ, къ митрополиту отошлютъ, левизоръ пріѣдетъ. А нѣтъ, такъ подайте въ комиссію прошеній.

— Да я и не знаю, какъ написать эту просьбу.

— И, матушка, что тутъ мудренаго; вотъ у насъ есть форма, вы съ нея и спишите... Гдѣ-то она у меня завалилась только... Память-то у меня стала. Все послѣ Ардальоши, — захныкала бѣдная женщина. — А вотъ, кажется, она. Я ее по уголку знаю, уголокъ вонъ тутъ оборванъ.

— «Ваше Сіятельство, — начала читать Ольга Васильевна затасканную и почернѣвшую отъ грязи бумагу. — Оставшись послѣ смерти мужа моего, коллежскаго совѣтника Тараканчикова, безъ всякой пенсіи и не имѣя состоянія, будучи притомъ обременена пятерыми малолѣтними дѣтьми, изъ коихъ»...

— Какъ же это? — сконфузилась Ольга Васильевна. — Тутъ о дѣтяхъ говорится и мужъ...

— А вы мужа-то выкиньте и дѣтей тоже, вотъ оно и подойдетъ. И Ардальоша такъ дѣлалъ. Это, видите, Тараканчиковой прошеніе; счастливое оно такое, всегда на него выдають...

— Кто эта такая?

— А Христось ее знаетъ, коллежская

совѣтница какая-то была. Мнѣ, знаете, эту форму-то одна знакомая дала, помяни ее, Господи, во царствіи Своемъ. Умерла она... Ардальоша былъ тогда малъ еще, охъ-хо-хо!.. Сочинять онъ, голубчикъ мой, тогда еще не умѣлъ, такъ вотъ съ формы и писалъ.

— Нѣтъ ужъ, — вздохнула Ольга Васильевна:— я не буду просьбы подавать. Какъ-то совѣстно.

— И-и, чего, тутъ совѣститься. Для того и капиталы эти есть, чтобы бѣдные люди просьбы подавали, — заговорила строптиво Игнатъевна. — Вѣдь вотъ вы бѣдняетесь, бѣгаете, а вдругъ что случится, захвораете, на вѣтеръ будь сказано, тогда деньги-то и пригодятся. Вѣдь безъ нихъ налезите, никто и не поможетъ, ваши-то знакомые, чай, и не заглянуть справиться о васъ. Вотъ знавала я одну учительшу, тоже неподалеку здѣсь жила; такъ, матушка, какъ захворала она, то ровно дедвяжка какая навалялась, такъ и умерла, можетъ и не отъ болѣзни, съ голода просто. Да что хлопотъ было, какъ пришлось ее чужимъ людямъ хоронить...

Ольга Васильевна задумалась, и передъ

нею воскресъ образъ этой брошенной учительницы. Она вздрогнула. Стало ей ясно, что ее ждетъ та же участь, если не будетъ скоплено денегъ. Она теперь думала объ этомъ съ невольнымъ страхомъ. Черезъ день, изъ просьбы вдовы Тараканчиковой вышло, при помощи всѣхъ жилищъ, прошеніе отъ имени Ольги Васильевны Суздальцевой. Ольга Васильевна краснѣла, составляя ату просьбу; она готова была выкинуть изъ нея и «ангела кротости и милосердія, и молитвы къ престолу Всевышняго за истинно отеческую любовь» невѣдомаго для нея его сіятельства, — но арпагъ феодальнаго государства возсталъ и безъ того на Ольгу Васильевну за то, что она не соглашалась въ своей просьбѣ «припасть къ стопамъ его сіятельства и лобзать его щедрую руку». Наконецъ, просьба написалась и была подана...

Изъ комиссіи принятія прошеній вышло довольно значительное вспомошествованіе.

— Ну, теперь въ человѣколюбивое подайте, — жалобно посовѣтовала капитанша. — Жаль, что вы замужемъ-то не были, дѣтей у васъ нѣтъ, а то и отсюда побольше бы на пер-

вый разъ выдали.

Разъ сочиненная просьба переписалась снова и подалась. Приѣхалъ ревизоръ, сморщенный, тощій, съ разбитыми ногами и мигавшими отъ старости глазами. По совѣту своихъ опытныхъ наставницъ, Ольга Васильевна объявила, что она живетъ въ одной комнатѣ съ маіорской дочерью, что у нея глаза плохи, и работать она не можетъ. Старикъ, полудремотно сидя на стулѣ и какъ-то тыкаясь впередъ головою, безмолвно слушалъ исповѣдь просительницы.

— А вонъ, того... пирожки ѣдите... — указалъ онъ на лежавшіе на столѣ пирожки.

— Батюшка, ѣсть нечего, такъ хозяйка сжалилась, — вмѣшалась Акулина Елизаровна, уже десятки лѣтъ знакомая съ ревизоромъ.

— Хорошіе пи-ро-жки, — сонно проговорилъ старикъ и нюхнулъ съ ногтя большого пальца табаку.

— Не угодно ли, если не побрезгуете, — предложила Акулина Елизаровна.

— Отъ хлѣба-соли, того... не отказываются... Что-жъ, попробую, — прошамшилъ ревизоръ и, стряхнувъ пальцы, выпачканные въ

табакъ, взялъ пирожокъ.

Въ комнатѣ воцарилось молчаніе.

— Такъ, того, кто мужъ-то былъ? — очнулся старикъ.

— Я дѣвица, — покраснѣла Ольга Васильевна.

— Без-дѣ-тная, значить... Ну, что-жъ, не у всѣхъ дѣти... Да и какія дѣти теперь!.. Н-да, такъ я, того, похлопочу-у. Охъ-хо-хо! — кряхтя, поднялся онъ со стула и медленною походкою, сопровождаемый поклонами и просьбами бѣдныхъ женщинъ, вышелъ вонъ.

Получилось и еще пособіе въ пять рублей.

Путь проторялся...

Читатель, вѣроятно, очень часто встрѣчался съ бѣднымъ Трезоромъ — съ Ольгой Васильевной. Вонъ она съ нотами подъ мышкой въ черномъ коротенькомъ платьѣ, въ засаленной кофточкѣ, съ озабоченнымъ сухимъ лицомъ маршируетъ по грязи на уроки, быть-можетъ, къ вашимъ дѣтямъ, читатель...